

Время
говорить



ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Керен Климовски

«Роман взросления о людях бескомпромиссных,
даже — беспощадных. Но — переполненных любовью».

Дина Рубина

Керен Климовски

Время говорить

Серия «Роман поколения»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=57880696
Время говорить: АСТ; Москва; 2020
ISBN 978-5-17-127284-5

Аннотация

Израиль, конец 1990-х – начало 2000-х. Двенадцатилетняя Мишка растет в благополучной семье с мамой-сказочницей и папой-профессором. Вся ее жизнь круто поменяется, когда она узнает о разводе родителей. За четыре года Мишке придется резко повзрослеть и пережить слишком много драматических событий, чтобы обрести свой голос и понять, что настало ее «время говорить».

«Роман взросления о людях бескомпромиссных, даже – беспощадных. Но – переполненных любовью». (Дина Рубина)

Содержание

Часть первая	4
1	4
2	71
Конец ознакомительного фрагмента.	100

Керен Климовски

Время говорить

Часть первая

1

Судный день

Может, звучит пафосно, но факт: осенью я отказалась от любви. Думаю, навсегда. Но для начала давайте уточним, что такое осень, а то я уже поняла, что это слово для разных людей может означать совершенно разные вещи. Вот мои родители, например. Казалось бы, уже больше двадцати лет в стране и приехали сюда детьми, а всё еще тоскуют по русской осени – с дождями, грибами, опавшими листьями. Причем папа заиклен на грибах. У нас зимой тоже растут грибы – папины друзья собирают. Но папу это не устраивает. Не то, говорит, не те грибы, другие, не такие: где запах детства, запах России, запах русской литературы? Хочется сказать: в твоей университетской библиотеке! Там и сыро, и гнилью пахнет. Папа – профессор русской литературы в Иерусалимском университете, и я там родилась, не в уни-

верситете, конечно, а в Иерусалиме, хотя сделали меня, может, и в университете, может, даже в той самой библиотеке, кто знает, ведь когда я родилась, родители только получили дипломы... Правда, папа продолжал учиться, стал профессором и остался на кафедре. Для мамы места не нашлось – она пишет детские книжки и в шутку называет себя домохозяйкой. А потом у мамы обнаружилось высокое давление, и врачи решили, что в Иерусалиме ей жить вредно, поэтому мы переехали в центр и купили квартиру в Рамат-Илане, рядом с Бар-Иланским университетом. Папа вечно жалуется: «Преподаю в одном, живу рядом с другим – всё в моей жизни шиворот-навыворот!» Он злится, потому что ему час ехать на работу и час обратно, а иногда еще и в пробках стоит... Мама его утешает, что, может, скоро в Бар-Илане тоже откроется кафедра русской литературы, но папа на это всегда отвечает: «После дождичка в четверг!» – смысл фразы я так и не поняла, наверное, что-то вроде «Я этого уже не дождусь!».

Несмотря на вечное нытье про нехватку времени, папа написал уже три книжки о «Братьях Карамазовых», хотя я не понимаю, как можно про одну книжку написать целых три, у меня это в голове не укладывается. Тем более я этих «Карамазовых» не одолела даже до середины: как-то все очень путано, только начнешь вникать в одну историю, как сразу заходит речь о ком-то другом. В общем, единственное, что я поняла: все русские – сумасшедшие, у них полностью кры-

ша поехала. Но Достоевский хотя бы забавный, а вот Чехов – тоска, читаешь его и как будто медленно погружаешься в болото. Папу очень расстраивают мои отзывы, он говорит: «Это перевод плохой!» – я ведь на иврите читаю, я русский не так хорошо знаю – и даже пытался другие переводы мне подсовывать, но все равно как-то не шло. Тогда он сказал: «Вот вырастешь и сама переведешь, да, Мишенька?»

У меня такое странное имя, потому что мама была уверена, что у нее будет мальчик, и собиралась назвать меня в честь своего дедушки – Михаэль, а родилась я, и, хотя есть нормальное женское имя Михаль, мама наотрез отказалась меня так называть, потому что одну ее знакомую – набитую дуру – звали Михаль... Так что родители выпендрились и назвали меня Мишель, и теперь многие спрашивают: «Вы французы?», то есть евреи из Франции, что совсем неплохо, кстати, потому что с тех пор, как к нам на голову свалился миллион русских (то есть евреев из России, но в эти детали никто не вдается), русских у нас недолюбливают. Ну вот. А дома меня зовут Мишкой – когда к нам приходят какие-то новые русскоязычные знакомые, они удивляются, что я не мальчик, а девочка, но я давно привыкла: Мишка так Мишка. А когда папа называет меня Мишенькой, у меня все внутри замирает, и никак не могу признаться, что я не только не собираюсь переводить русскую литературу, а даже читать ее не планирую, и мычу нечто неопределенное, что папа толкует как «да», и его глаза наполняются слезами, и он уже видит

взрослую дочь – гордую продолжательницу дела его жизни, и в этот момент его со всех сторон окружает Великая Русская Литература и мерещится запах грибов.

Так вот, папа зациклен на грибах, а мама – на «золотой осени». Она уже сто раз читала мне это стихотворение Пушкина – и на русском, и на иврите – про все вот это «очей очарование»; Пушкин, кстати, ничего, он, кажется, из них самый вменяемый чувак был... Иногда мама показывает мне альбом с фотографиями, на которых она, девочка с косичками и гигантским бантом в волосах, утопает в листьях – то есть лежит на траве, зарытая в осенние листья. Только фотографии черно-белые, и «золотой осени» не видно, но мама этого не понимает, и ей так хочется, чтобы я увидела эти золотистые листья, что иногда я их даже вижу. Хотя проще всего мне понять «золотую осень» через маму: у нее пышные волосы осеннего цвета, золотисто-медные, и большие карие глаза, ни у кого такой красивой мамы нет. Все говорят, что я на нее похожа, но этого не может быть, потому что мама красивая, а я уродина. Но не будем об этом.

В общем, я просто хотела сказать, что моя осень – это не грибы, и не золотые листья и Пушкин, и даже не дожди. Разве что предчувствие дождя. Тот особенный запах, который появляется в воздухе в начале или середине сентября, когда отходят последние хамсины, и в небе висит, как флаг, первое робкое облако, и в классе еще открывают окна, чтобы

проветрить, и вроде еще жарко, но что-то изменилось, и это невозможно не почувствовать, не заметить – такой запах обновления и надежды, запах влаги, запах близости дождя.

А еще осенью начинается школа, и запах обновления проникает во все предметы: в новые тетрадки и оберточную бумагу для учебников, в пенал, карандаши и гелевые ручки, которыми нам только-только – в шестом классе – разрешили писать. Повезло, конечно, что учебный год начинается осенью, когда уже не так жарко и можно сосредоточиться на чем-то, но все эти запахи сводят с ума, по крайней мере меня. Нам опять, в очередной раз, обещают, что все будет хорошо, что круг завершен: мы вернулись к началу, и так будет всегда – начало года, запах бумаги и учебников, синий маркер на белой доске... Короче, мы все будем жить вечно! И мне так нравится эта мысль, что я даже готова, чтобы школа была вечно – ведь нигде больше так не ощущается начало, как здесь! Не зря у нас и Новый год осенью: ведь это тоже начало, и – вместе с обещанием дождя – обещание, что все повторится, что каждую осень будет месяц *тишрей*¹, а в нем *Рош а-Шана*², и яблоки, которые макают в мед, и зернышки граната, и заунывные звуки *шофара*³, и моя любимая песня, в которой на школьной линейке в начале года мы поем, что

¹ Тишрей – первый месяц еврейского (лунного) календаря. Приходится примерно на сентябрь-октябрь.

² Рош а-Шана (букв. «голова года» (*ивр.*)) – еврейский Новый год.

³ Шофар – сделанный из рога ритуальный музыкальный инструмент.

в следующем году будем сидеть на балконе и считать пролетающих мимо птиц из северных стран, а дети (то есть мы!) будут играть в салки между домом и полями – так именно и поется «между домом и полями», и, когда я тоже пою эти слова, наша крохотная страна вдруг растет как на дрожжах, заполняет собой карту мира, на какое-то время становится огромной и бескрайней, потому что вот это пространство «между домом и полями» – оно безмерное.

Я так люблю это время, что даже десять дней между Новым годом и Судным днем⁴ – Десять дней раскаяния⁵, которые называются угрожающе «страшные дни», – мне совсем не страшны. Не могу сказать, что в чем-то сильно раскаиваюсь, но в эти дни чувствую: что-то меняется. И сны снятся чудесные, сны месяца тишрея, когда жара – отголосок, а дождь – обещание. Однажды мне даже приснились падающие яблоки – антоновка, мамин любимый сорт (хотя я никогда не была в России – просто мама про это рассказывала). Яблоки падали на Красную площадь, которая была буквально красного цвета. Мама тогда сказала, что, конечно, я так особенно чувствую тишрей, ведь по ее линии у меня семь поколений раввинов, это у меня в крови, на генетическом уровне, но, увидев папино лицо, тут же сменила тему: папа

⁴ Судный день (Йом-Кипур) – самый важный еврейский праздник: день поста, покаяния, очищения и отпущения грехов.

⁵ Десять дней раскаяния – десять дней между Новым годом и Судным днем; в эти дни принято просить прощения у других людей, подводить духовные итоги.

– ярый атеист, он религию терпеть не может, а израильских религиозных просто на дух не переносит, у него даже одна из книжек о том, что Достоевский на самом деле в Бога не верил и презирал его. Я у папы как-то раз спросила: «А как можно презирать кого-то, в кого не веришь?» Папа разозлился и сказал, что я ничего не понимаю...

А больше всего, как ни странно, люблю Судный день. Хотя мои друзья считают этот день самым скучным: по телеку, например, ничего не показывают. (Тоскливее только День памяти жертв холокоста, тогда по телику сплошные документальные фильмы про концлагеря и газовые камеры, бр-р-р.) Ну и вся эта идея, что нас записывают в Книгу жизни или Книгу смерти, и подсчитывают наши грехи и добрые дела, да еще на весах взвешивают, так что Бог представляется таким дотошным и занудным бухгалтером... Только они не понимают, что на самом деле Судный день совсем не об этом. Он – о красоте. Это самый красивый день в году. Даже не потому, что поют красивые молитвы, хотя они и правда красивые. И не потому, что в этот день – вернее, накануне – просишь у всех, кого обидел, прощения, и что-то щемит в сердце, и это очень приятно (хотя прощать еще приятней), и по-своему тоже красиво – когда слезы на глазах и сдерживаешься, чтобы не заплакать... И даже не потому, что в этот день не летают самолеты, не ходят поезда и не ездят машины (даже такие отпетые атеисты, как папа, не садятся за руль). Дороги всей страны наводняются детьми на великах и роли-

ках, и это красиво! Но самое красивое – поход в синагогу: и вечером, когда смеркается, и утром, когда светает.

В этот день в синагогу ходят все, почти все, даже мы (хотя папа ворчит). Это тот самый «раз в году» для светских семей. Все идут в синагогу, и все в белом. Такая традиция. Представьте: толпы народу – «народ Израиля», прямо как в *Tore*⁶, все на улицах, и все в белых одеждах. И эти одежды слегка пузырятся и вздуваются на легком ветру – предвестнике израильской осени, – так же вздуваются и пузырятся белые простыни, вывешенные на просушку в начинающей остывать Иудейской пустыне, где живут папины родители. Вечером, в мягко густеющей темноте на улицах как будто шествие привидений, и белые одежды⁷ сияют в полумраке, а когда на них падает свет фонарей, кажется, что свет струится от самой одежды. А днем... днем плывет караван кораблей – не по морю, а по пустыне: это мы – весь народ Израиля, люди-корабли. И плывем не за угол, не на соседнюю улицу в синагогу, а просто выплываем все вместе в бескрайний и безбрежный мир. И это очень красиво. Правда. Я каждый год этого жду.

А в этом году все безнадежно испорчено. И теперь, думая о Судном дне, я буду думать не о белых кораблях, а о несчастном подслушанном разговоре. Нечаянно подслушан-

⁶ Тора – Пятикнижие.

⁷ По традиции в Йом-Кипур надевают белое.

ном, конечно. Просто у нас два телефона: один у родителей в спальне, другой в зале. Обычно, если снимаешь одну трубку и кто-то поднимает другую, слышен щелчок. Я несколько раз наезжала на папу, когда мне звонили мальчишки из класса, а он снимал другую трубку, только он каждый раз притворялся, что просто не слышал, как я уже сняла, – и не подкопаться. А тут... Мы как раз готовились к походу в синагогу. Мама была в душе, папа переодевался, а я, уже одетая, ждала их в зале и не знала, чем заняться. Когда зазвонил телефон, я сразу к нему кинулась: была уверена, что кто-то из класса звонит. И так получилось, что мы с папой сняли трубку одновременно, поэтому щелчка он не услышал. Я бы сразу повесила, потому что взрослые разговоры малоинтересны, но услышала, как на другом конце провода женский голос с придыханием сказал:

– Володя, Володя, это ты?

И невольно поморщилась, потому что так папу зовут дедушка с бабушкой и другие близкие родственники, а все остальные, включая маму, называют его израильским именем Зээв (почему-то все Володи становятся в Израиле Зээвами, что буквально переводится как «волк», кроме тех, конечно, которые остаются Володями, но в семидесятые, когда приехали мои родители, еще было так мало «русских», что почти все меняли имена...). Папе, очевидно, тоже не понравилось, потому что он недовольно буркнул:

– Я же просил сюда не звонить.

А женский голос, настойчивый и горячий (я почти ощущала горячее дыхание), всхлипнул:

– Извини, Володенька, я не выдержала...

И я напряглась еще сильнее, потому что по-русски знаю далеко не все слова и не сразу поняла, что означает «не выдержала», и потому что этот грудной, горячий голос показался мне знакомым, где-то я его уже слышала, только не могла вспомнить где. А голос продолжил:

– Я скучаю по тебе, Володенька.

И папа тоже перешел на шепот и быстро-быстро, скороговоркой:

– Я тоже, я тоже скучаю, Марина, не могу сейчас, не звони сюда больше, я тебе сам позвоню, целую, пока.

И повесил трубку. И я сразу тоже повесила, конечно. Еще не хватало, чтобы папа меня застукал. Это я успела сообразить, несмотря на целый рой мыслей, который бился в мои виски изнутри, так что я почти оглохла, только слышала этот шум, пустой гул из огрызков слов, которые я не могла понять, потому что за последнюю минуту практически разучилась понимать не то что русский, а свой родной иврит. Повесила трубку и сразу опустилась на пол рядом с телефонным столиком. Стоять я больше не могла. Я вдруг поняла значение выражения «твой мир рушится»: мне реально казалось, что мир рушится – шатается пол, и в нем как будто прорезываются щели, впадины, и стены ходят ходуном, и все ближе, угрожающе нависает потолок... Я закрыла глаза. По-

сидела так, пока не успокоилась. Пока не перестал шататься пол, пока не перестали трястись стены. И из всего запутанного клубка мыслей на поверхность выплыли две:

- 1) папа изменяет маме;
- 2) он изменяет ей с Мариной.

Первая мысль была невыносима. Вторая – еще невыносимей. И абсолютно нелепой. С той самой Мариной (а никаких других Марин он не знал, да и голос я вспомнила), которая преподает на кафедре биологии в Иерусалимском университете и говорит на иврите с чудовищными ошибками и безобразным акцентом, как и все они, недавно приехавшие?⁸ С некрасивой толстой Мариной, у которой сиськи размером с мою голову, а облегающая одежда только подчеркивает жирные ляжки, у которой комки туши в ресницах, а губы накрашены так, что хочется подойти и пальцем вытереть лишнее? С жалкой, нескладной Мариной, которая постоянно курит, так что вся пропахла куревом, и своим прокуренным голосом (пожалуй, голос у нее красивый, грудной) жалуется на жизнь? Несколько месяцев назад они были у нас в гостях, Марина и ее худющий сутулый муж – он в основном молчал, так что даже имени его не помню, и Марина рассказывала, что получает зарплату не как профессор и не от университета, а от государства – какую-то стипендию Шапиро⁹, и это

⁸ Имеется в виду миллионная волна репатриации из СССР в 1990–1991 годах.

⁹ Скромная стипендия, которую в 1990-е годы платили репатриантам-ученым из СССР.

просто копейки, и стыдно, потому что израильтяне без высшего образования на других работах получают больше, но хоть на этом спасибо, ведь только десять процентов устроились по специальности, а остальные моют полы, сидят на кассе и таскают тележки в супермаркете... И мама с папой охали, ахали, ужасались, жалели ее, и папа обещал похлопотать у декана, чтобы ей выделили хоть какой-то бонус. Папа совершенно спокойно разговаривал, нормально, сочувствовал и все такое, но мама сочувствовала даже больше, и ни за что невозможно было догадаться, что Марина – папина любовница... (Фу! Какое ужасное слово, оно как будто не настоящее, а из романов или мыльных опер; неужели это отвратительное слово теперь и про мою семью?!) И вот с этой самой Мариной, которая, кстати, старше папы лет на пять как минимум, с ее безымянным мужем и стипендией Шапиро, с этой самой Мариной папа изменяет маме. Красивой стройной маме, которая одевается как молодая, конечно, когда она одевается, поскольку большую часть времени она не вылезает из пижамы и халата, а когда папа ее дразнит, говорит, что ей некуда особо наряжаться, и иногда бывает грустной и подолгу спит, но она все равно красивая и молодая и очень звонко смеется – как можно изменять маме с Мариной, у меня в голове не укладывается!

Тут мама как раз вышла из душа, шутливо обрызгала меня водой, стекавшей с ее длинных волос, сказала:

– Мишка, ты чего сидишь на полу? – и стала натягивать на себя белое платье прямо в зале у всех на глазах. Мама не стыдится своей наготы, папа ее на эту тему поддразнивает, но она говорит: «Кого мне стесняться? Вас с Мишкой?» А папа вышел из спальни в своем сером костюме, немного небритый, а щетина у него уже начала сесть, и был немного похож на волка, на Зэва. На маму он даже не взглянул, но в лице у него ничего особо странного не было, и со мной он общался как обычно, только все время чесал свою черную шевелюру, а это признак того, что он нервничает, – у него такой нервный тик. А я успела подумать: значит, все эти разы, когда папа говорил, что остается в Иерусалиме у армейского друга Хаима, потому что устал и не хочет ехать в ночь, он на самом деле ночевал у Марины... Но я успела подумать только это, потом мы сразу вышли, чтобы не опоздать на первую молитву – *Коль нидрей*¹⁰, – и оказались на улице, и я на некоторое время забыла про Марину и даже не заметила, что по лицу текут слезы, и, когда мама вдруг спросила:

– Мишка, что случилось? – не знала, что ответить, и пробормотала, что у меня болит голова, но мама не поверила, а папа ничего не заметил: он думал о своем.

Я уже сказала, что этой осенью отказалась от любви. Что такое осень, мы более-менее выяснили. Осталась любовь.

¹⁰ Коль нидрей – молитва, которую читают в начале вечерней службы Йом-Кипура, – отказ от обетов, уроков и клятв.

Тут ведь тоже не все так просто. Надо хотя бы рассказать о своем опыте. Он не такой большой в мои неполные двенадцать лет, но все-таки есть. В Иерусалиме у меня была парочка совсем детских влюбленностей, но это не в счет. А когда два года назад у мамы обнаружили давление и мы переехали сюда, в Рамат-Илан, я, конечно, попала в другой класс. Мои новые одноклассники уже четыре года вместе учились и успели друг другу страшно надоест, так что я была новинкой, чем-то экзотичным, и в первые несколько месяцев в меня влюбились почти все мальчики. Потом у них это прошло. Не прошло только у Алона, что оказалось очень некстати: мы вместе выпускали школьную газету – придумывали юмористические стихи, шуточные задания и даже кроссворды. В основном встречались у меня дома, так как его родители работали допоздна, и он нахваливал мамин борщ и отбивные (его мама готовила только на *шаббат*¹¹, а в остальные дни варила макароны или разогревала купленные в супермаркете замороженные шницели). Мы с ним ладили, и я очень даже хорошо к нему относилась – единственная из всего класса, – хотя было немного противно, что у него вечно сопли. Но для того чтобы болтать, необязательно слишком близко находиться...

А тут Алон вдруг спятил – послал мне по почте четыре

¹¹ Шаббат («Суббота» (*ивр.*)) – день, в который предписывается отдыхать от работы. В Шаббат в Израиле не ходит транспорт и закрыто большинство магазинов.

любовных письма, причем каких-то напыщенных, на высоком литературном иврите, как будто он профессор или герой романа Агнона¹², что-то там про «многие воды не погасят мою любовь к тебе». Короче, я подумала, что он спятил, но все равно впечатлилась. А папа просмотрел и фыркнул:

– Да ну вас, это же плагиат чистой воды – все надергал из «Песни Песней» и кое-что из Сапфо.

Но после паузы добавил:

– Все равно молодец: знал, где искать.

Я хотела Алону не отвечать и сделать вид, что писем не получала, но папа посчитал это малодушным. Он у меня очень принципиальный.

– Мишка, ты должна ему позвонить и лично – слышишь? лично! – поблагодарить его и извиниться за то, что не можешь ответить на его чувства.

– Зээв, ты не прав, – перехватила эстафету мама. – За что ей извиняться? В чем она виновата?

– Ну хорошо, – смягчился папа, – извиняться не надо.

– А благодарить за что? – пробурчала я. – Можно подумать, сдались мне его письма.

Папа поправил очки на переносице – очередной нервный тик – и строго на меня посмотрел:

– Когда тебя любят, это очень круто, Мишка. За это надо сказать спасибо.

¹² Шмуэль Йосеф Агнон (1888–1970) – израильский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.

Мама захохотала:

– Что-то не припомню, чтобы ты меня благодарил, Зээв!

А папа очень серьезно ответил:

– Так ведь это другое, ведь я тебя тоже люблю.

Это было всего полтора года назад...

С папой не поспоришь. Я позвонила Алону, выдавила из себя слова благодарности, промолчала про сопли и как-то по-взрослому сказала: «Я просто еще не готова к отношениям». После этого Алон стал меня задирать, говорить мне гадости и вести себя странно. Например, на дне рождения Моти, пока я ходила за ручку с Мотиным младшим братом, сладким годовалым карапузом, по площадке для мини-гольфа, Алон взял пакетик с кетчупом, положил на землю и наступил на него, как раз когда я проходила мимо, и на меня ка-а-ак брызнуло! В тот момент я его ненавидела, хотя обычно было его жалко, даже не потому, что я его отвергла, а потому, что никто в классе его не любил и все дразнили толстяком (хотя не такой уж он и толстый, лично меня только сопли смущают...). В тот день я поняла, что, когда тебя любят, а ты – нет, это самое ужасное.

А следующей осенью, в начале пятого класса, у меня впервые появился парень, тот самый Моти. Тоже немного пухлый и весь в веснушках. Мы оба жили в Рамат-Илане и ездили в школу в Рамат-Ган на одном и том же школьном мини-автобусе, поэтому я с ним разговаривала куда больше, чем с другими мальчишками. У нас в классе тогда девочки с маль-

чиками почти враждовали, и Моти тоже при всех делал вид, что я ему никто, а когда ждали подвозку – подлизывался. И вдруг как-то неожиданно предложил мне стать его «девушкой». Ну и я согласилась: было любопытно – а что теперь? И время пришло: мне скоро одиннадцать лет, пора! Мальчики, конечно, сделали вид, что им плевать, что такие дуры, как их одноклассницы, даром никому не нужны, а девочки позавидовали, только Рони, моя лучшая подружка, сказала: «Зачем он тебе? Он же дурак!» Но я подумала, что она тоже завидует, и впервые на нее разозлилась.

Самое смешное: я совсем не знала, что делают парень с девушкой. Ну про взрослых знала, конечно, но что делают в нашем возрасте? Наверно, что-то похожее, ну, целуются, например. Но это где-то с седьмого класса, так говорит Шира, а она самая опытная девочка в параллели. А мы? За руки подержимся? Только я первая его за руку не возьму. На следующий вечер Моти пригласил меня в местную пиццерию, но мы все время тупили, разговор не клеился. Я поняла, что Моти тоже стесняется и, вероятно, думает о том, как взять меня за руку. А в шаббат Моти предложил пойти в парк. Я не удивилась: в нашем спальном районе, кроме пиццерии и парка, реально никуда пойти. Вот совсем молодым влюбленным некуда деться! Можно, конечно, попросить родителей куда-то отвезти, но это не то... Я уже решила, что в парке невзначай возьму Моти за руку, но вышло совсем по-другому.

Мы немного покачались на качелях, но быстро ушли, потому что это малышовое занятие, потом сели на лавочку, и тут... Моти достал из кармана лупу, с ее помощью стал ловить солнечных зайчиков и направлять лупу на муравьев. Я была в шоке: это его представление о романтике?! Черт, Рони была права! Пока я сидела с застывшим лицом, Моти успел спалить парочку муравьев. Я не знала, что сказать, и ляпнула: «Мне надо домой, у меня живот болит!», и тут Моти выдал: «Ты хочешь какать? Идем, я тебе покажу, где можно покакать...» Этого я уже не вынесла и убежала, а потом написала Моти записку, что наши отношения были ошибкой. Объяснять не стала, рискуя, что он расскажет всему классу, будто я наложила в штаны (но он этого не сделал). Так что мои первые отношения закончились бесславно и очень быстро – даже недели не прошло. Зато потом было очень неловко общаться в подвозке – долго-долго... Ну, относительно долго. Через несколько месяцев я про это все забыла, так как меня угораздило влюбиться в Бэнци, и я поняла, что прежде – это были только цветочки, а вот когда влюбляешься, то всё, капец, одни неприятности...

Бэнци – не самый популярный мальчик в классе. И не самый красивый. Но влюбляются именно в него. Что-то такое есть в его очень смуглом лице (его родители из Ливии, из Триполи), в том, как иногда сжаты его губы, – что-то волевое и упрямое. Вот в это я и влюбилась. А красавчик Омэр, похожий на Тома Круза, меня никогда не волновал... Бэнци

интересовали две вещи: политика и футбол. Ни о том, ни о другом я понятия не имела. И то и другое мне казалось одинаково скучным. Я даже один раз в гостях перепутала премьер-министра с президентом, и папа потом мне выговаривал, что стыдно не знать таких вещей... (Оказалось, я даже не знала, что у нас премьер-министр главней, а президент – символическое лицо, как в Англии королева; и правда стыдно.) А тут стала присаживаться вечером на диван рядом с папой и смотреть новости (а раньше всегда говорила: «Выключите, это скучно!») и даже попросила папу прочитать мне блиц-лекцию о разных партиях; правда, из папиного рассказа я поняла только, что те – дураки, а эти – сволочи. Но некоторыми фактами во время школьных дебатов удалось блеснуть – неофициальных дебатов, конечно, это мы на переменках иногда так развлекаемся. Особенно мальчишки – подражают взрослым, иногда даже кричат друг другу: «Фашист!» или «Предатель родины!» – точь-в-точь как министры в нашем парламенте. Ну вот и я тоже стала активной участницей, и время от времени Бэнци бросал на меня уважительные взгляды.

А когда мы не говорим о политике, то играем в футбол, и девочки тоже, я одна устранилась раньше, а с середины пятого класса вдруг включилась, быстро поднаторела и довольно прилично играла. Бэнци почти всегда выбирал меня в свою команду, а это именно он всех выбирал, и, как правило, по справедливости, чтобы были равные силы. Рони одна-

жды меня уколола, что вот она не стала бы так меняться ради того, чтобы понравиться какому-то мальчику. А я ей сказала, что она плохо соображает: я это не для того делаю, чтобы понравиться Бэнци, а для того, чтобы лучше его понять. Со временем мне и самой стало нравиться быть вовлеченной в то, о чем все говорят, бросаться фамилиями наших политиков, пренебрежительно отзываться о взрослых, гонять мяч, откидывая волосы со лба, отдуваясь, и кричать до хрипоты: «Пендель, пендель!» или фыркать: «Пф-ф-ф, ничего не было, это штанга!»

На фразу «плохо соображаешь» Рони не обиделась. Она меня знает. Я говорю людям в лицо то, что думаю. И в классе меня некоторые за это не любят, но я не собираюсь меняться. Это же признак смелости: я не подхалимка какая-то! Зато если я говорю что-то хорошее, можно не сомневаться, что я так думаю. Многие хотели бы как я, у них не получается. Вот Шира говорит, что все в какой-то степени фальшивые и притворяются: ей хочется в это верить, чтобы себя оправдать. А я всегда честная, даже когда это вредит мне. Папа утверждает, что я часто сама на себя доношу. Ну и что?! Я этим горжусь и надеюсь, что во взрослости это в себе сохраню, даже если меня многие не будут любить. Зато некоторые, ну, настоящие люди, будут просто обожать меня, я в этом уверена! И почему-то мне казалось, что Бэнци тоже должен меня оценить и влюбиться, но это все не происходило.

Зато моя влюбленность ни для кого не была тайной. У ме-

ня просто такое лицо: по нему всегда видно, что я думаю и чувствую, так что даже скрывать бесполезно. И о том, что я влюблена в Бэнци, конечно же, знал весь класс. Помню, однажды мы пришли в школу вечером на какой-то праздник и я подбежала к группе ребят из нашего класса и спросила с таким непринужденным видом: «А где все?», а Шира ехидно ответила: «Бэнци – там!», и все засмеялись... Она меня подкалывала, потому что сама была в него влюблена. А в кого был влюблен Бэнци – помимо «Маккаби»¹³, – никто не знал. А еще я не уверена, знал ли он про меня. Мы это не обсуждали. Хотя меня мучило: знает он или нет? Потому что он в любом случае должен был как-то прореагировать. Но однажды, просто в разговоре на перемене, когда мы играли в карты (нас было человек семь или восемь), он вдруг заявил: его достало, что все девочки в него влюбляются, типа его это смущает и он хотел бы, чтобы этого не было. И я, конечно, приняла это на свой счет, и обиделась, и подумала: точно, он никого не любит, только футбол и споры о политике, очень мне такой нужен! Ну и к черту! Раз не надо, мне тоже не надо, не буду ничего говорить и ничего выяснять. Тем более я его поняла, потому что сразу вспомнила про Алона: неужели я для него – как для меня Алон?!

Но я все-таки надеялась, что мы сблизимся на весенних соревнованиях и, может, что-то изменится. Дело в том, что мы оба хорошо прыгаем в длину. У нас даже был одинако-

¹³ «Маккаби» – крупный футбольный клуб в Израиле.

вый результат: 3,70. Хотя для девочки это круче – так сказала Офира, наша учительница физкультуры. В общем, нас двоих послали на соревнования по легкой атлетике представлять наш класс, и я уже мечтала, как мы окажемся вдвоем в автобусе и, наверно, будем сидеть рядом, ведь других детей из школы мы не так хорошо знаем, и тут наконец сможем поговорить, и у него будет шанс оценить, какая я смелая и нефальшивая, как другие, и он скажет: «Мишель, ты не похожа на других девчонок...» ну или что-то в этом роде... Но буквально за неделю до соревнований этот урод разозлился на Офиру, которая за хулиганство выгнала его с урока, и догадался громко сказать «Офира – шлюха», как раз когда та проходила мимо, и в наказание его отстранили от участия... И тогда я совсем сильно на него разозлилась: вот дурак, он же все испортил! Меня эти соревнования уже никак не волновали, но я все равно поехала, чтобы не подводить класс, и даже хорошо прыгнула, но было невесело. Я представляла себя таким грустным зайцем, одиноким прыгучим зайцем, который далеко прыгает и заслужил вкусную морковку или любимую капусту, заслужил, но не получил...

А потом, через неделю, была встреча нашей группы по истории, нам дали задание собрать информацию и приготовить доклад о Войне Судного дня¹⁴. Встречались дома у Ширы.

¹⁴ Война Судного дня – четвертый вооруженный конфликт между коалицией арабских государств и Израилем; начался 6 октября 1973 года (как раз в Судный день) и продлился 18 дней; обе стороны понесли многочисленные потери.

Она, к сожалению, была в нашей группе. Зато и Бэнци был. Это сначала я думала «зато», а после поняла, что совсем не «зато», а тоже «к сожалению». Он меня просто достал, этот Бэнци! Не специально, но это неважно. Мы же не весь вечер работали – мы и пиццу ели, и болтали. А Бэнци все время повторял одно и то же, как попугай: «Алон толстый, Алон много ест, ам-ам, Алон толстый!» И так весь вечер! Хотя Алон там даже не было, бедняги, он в другую группу попал, и вообще, что ему сдался этот Алон?! Мало того что это противно – так по нему проезжаться за спиной, так еще и подурачки. Получается, он такой же дебил, как Моти, ничем не лучше; как же я могу быть влюблена в такого дебила?! Вот на какой мысли я себя поймала в тот вечер. Но сразу подумала, что в каком-то смысле все мальчишки дебилы... (Как раз вспомнила недавнюю вечеринку, где мы, девочки, хотели танцевать с мальчиками медленные танцы, а они вместо этого забаррикадировались на балконе, бросали шарики с водой на прохожих, смеялись так, что у них кола выходила из носа, и подбрасывали в воздух чипсы и *бамбу*¹⁵, стараясь поймать на лету ртом, – ну не дебилы разве?!) Короче, если в это вдаваться, то влюбляться и не в кого, а без этого как-то скучно...

А в июне, когда учебный год почти закончился, на вечеринке у Рони мы играли в игру, которая называется «Двести поцелуев». Играют в нее так: все сидят в кругу и мальчик

¹⁵ Бамба – очень популярное в Израиле хрустящее лакомство из арахиса.

целует девочку (на выбор), а она – мальчика, а тот – другую девочку и так далее. Надо набрать двести очков. Поцелуй в щеку стоит пять очков, а поцелуй в губы (без языка) – десять (а с языком, французского поцелуя, в этой игре нет, хотя я слышала, что в седьмом классе играют и с языком, но не у нас). Сначала все друг друга только в щеку целовали, а потом Эйтан раздухарился и чмокнул меня в губы – почему-то именно меня (фу-фу-фу, конечно, потому что у него противный пушок над губой, но, с другой стороны, мой первый поцелуй, можно сказать!). И пошло-поехало... Нет, не всех целовали, но почти всех, а меня где-то семь мальчиков поцеловали в губы, некоторые даже не один раз, ну и я, соответственно, столько же раз целовала мальчиков. Так вот, меня ждало открытие: оказалось, Бэнци не очень классно целуется – у него сухие, слегка шершавые и горячие губы. Зато Шахар поцеловал лучше всех – такими чуть приоткрытыми губами, и после того вечера он мне как-то приснился, так что я не могла понять, в кого влюблена, и решила, что раз так, значит, ни в кого... А там начались каникулы, и я Бэнци не видела, да и не до этого было: я все лето провела в разных лагерях и в поездках и впервые была в английском лагере с ночевкой – целых две недели! Но Бэнци мне снился, и всегда некстати. Я даже один раз во сне сказала: «Я тебя больше не люблю, так что не снись мне!» Но он не послушался и приснился еще раз.

Пока я думала про Алону, Моти и Бэнци, про свой любовный опыт, оказалось, что не только молитва Коль нидрей закончилась, но вообще вечерняя служба. Я все пропустила, мой любимый вечер в году прошел мимо меня. Я вынырнула и, пока мы шли домой, лихорадочно пыталась наверстать. специально медленно шла, чтобы подольше смотреть, как свет от фонарей освещает и наполняет собой белые одежды прохожих, возвращающихся из синагоги. Но как я ни старалась, не получалось увидеть, что свет струится от нас, впервые ничего не вышло. Только папа на меня прикрикнул (зло, как мне показалось): «Давай быстрее, Мишка, что ты ползешь как улитка!»

А ночью, когда я уже лежала в постели, в голову ворвались те мысли, которые весь вечер отчаянно отгоняла и даже на время заглушила мыслями о Бэнци, но только я расслабилась и собралась заснуть, как они набросились на меня, и я просто не успела дать отпор. Во-первых, вопрос: надо ли говорить маме? И только от этой мысли сердце пропускало удар, и мне казалось, что я сейчас разучусь дышать. Обязана ли я сказать маме, это мой долг или нет? Или, наоборот, это запрет – испытание, проверка на прочность для меня, и я должна молчать, стиснуть зубы, как герой военного фильма, когда его пытаются, стиснуть зубы и зажмуриться, чтобы даже взглядом себя не выдать. Но честно ли это по отношению к маме? А если у нее есть право знать? А тут – единственная дочь, получается, предает ее? А если я все-

таки скажу, открою глаза и выпалю или малодушно напишу ей записку, то... то что тогда? Мама даст папе пощечину и обзовет его подлецом, как в кино, а потом они разведутся? А может, лучше поговорить не с ней, а с ним? Сказать ему: «Порви с любовницей, отец!» Нет, это как-то смахивает на девятнадцатый век, лучше так: «Бросай свою шлюху!» Но тут он вlepит мне пощечину, это, пожалуй, слишком. А на самом деле мне хочется трясти его и кричать: «Как ты мог, как ты мог, как ты мог?» Да и кто сказал, что он бросит ее? Может, совсем наоборот? Скажет маме: «Видишь, Лили, так получилось, что Мишка узнала, и, наверно, это к лучшему: я так долго лгал, что уже сам себя презираю, а теперь я освобожу себя правдой и верну тебе свободу...» Да, папа вполне может сказать что-то в этом духе. Какой бы сценарий я ни представляла себе, все равно получается, что в итоге они могут развестись. Даже в том случае, если промолчу и ничего не скажу. Если буду держаться и избегать папиного взгляда, но при этом очень хорошо себя вести, и подтяну математику, и дочитаю несчастных «Карамазовых», это все равно может произойти. В любой день. Хоть завтра. Или через год. И второй вариант еще хуже, потому что весь этот год я проживу в ожидании и страхе, убирая завалы в комнате, корпя над учебником математики и читая Достоевского (а там, кто знает, может и за Чехова примусь), и уже почти поверю, что все, пронесло, а в один прекрасный день вдруг зайду в гостиную, а там мама с папой с нарисованными приторными улы-

бочками: «Мишенька, а мы тут разводиться надумали...»

И что тогда? Как развивается сценарий? Я буду жить с папой, Мариной и ее сыновьями-подростками? Это семейная драма. А если эти противные мальчишки будут меня избивать? А если Марина окажется мачехой из сказок и будет попрекать меня куском хлеба и заставлять мыть полы? (Это уже мелодрама.) Тогда я сбегу! Или я останусь с мамой? Но мама очень мало зарабатывает своими детскими книжками – неужели она устроится на работу? Не могу представить себе маму встающей в семь утра и идущей на работу. А если мама умрет с горя? От разбитого сердца? Такое бывает, я слышала. (Меня однозначно тянет в мелодраму!) И останусь я сиротой. Ее родители, деда Сёма и баба Роза, уже старенькие, они маму поздно родили, у них не будет на меня сил. А папины родители живут в Иудейской пустыне и помогают воспитывать десятерых детей папиного брата (отдельная история) – только меня им не хватало! Короче, никому я не нужна и окажусь в детском доме, только оттуда я, несчастная сирота при живых – а может, и не совсем живых – родителей, конечно, сбегу и стану уличной, как Гаврош из романа Гюго (наконец-то авантюрный поворот!)... А что если мама сойдется с безымянным мужем Марины, сначала из мести, а потом они полюбят друг друга и будут спорить с папой и Мариной о том, кому я должна достаться, и начнется страшный скандал на всю страну? (Это уже мексиканский сериал.) Почти всю ночь я не спала, и ворочалась, и развивала сюжет на

разные лады и в разных жанрах (под утро нашлось место даже для шпионского детектива). А когда ненадолго засыпала, то снились кошмары...

В семь часов утра я лежала в постели, измученная и злая, и думала о том, что надо позвонить Бэнци... Просто не так давно я опять внутренне к нему вернулась – стоило случайно попасть к нему домой после школы. Дело в том, что в этом году нам поменяли водителя подвозки: вместо толстого добродушного и пожилого Арика нас стал возить молодой смуглый и злой, как скорпион, Коби. Он из этих, из религиозных, черную кипу носит, только он совсем не лучше от этого, и вся его религиозность только в том и выражается, что он дискриминирует девочек. Меня он с самого первого дня невзлюбил и стал издеваться: Моти можно сидеть спереди, например, а мне – нельзя. Почему? «Да потому, что я так сказал, что тут непонятного!» А еще: «Помолчи, женщина должна знать, когда можно, а когда нельзя разговаривать...» Или: «Тебя никто не спрашивал, куда ты лезешь? Я с Моти разговариваю!» (А Моти, гад, радовался, тихо, но радовался, очевидно, еще не забыл о нашем злосчастном «романе».) А когда Коби узнал, что я не из французов, а из «русíм», так просто осатанел. Он восточный¹⁶, а восточные не любят иногда русских, как правило, взаимно. (Хотя у нас в Израиле кто-то всегда кого-то не любит, ничего удивительного.)

¹⁶ «Восточными» в Израиле называют евреев – выходцев из арабских стран.

Коби постоянно опаздывал, а когда я жаловалась, что нас последними всегда забирают, очень грубо затыкал меня. Он ожидал повиновения, покорности, думал, что запугает. Но я не из таких. И на вопрос: «Ты думаешь, ты такая умная?!» – ответила: «Да, думаю, но мой ум здесь ни при чем, а просто ты не имеешь права все время так опаздывать и заставлять нас ждать, а если с нами что-то случится? Это же твоя ответственность...» Коби сжал руль так, что побелели костяшки пальцев, и сказал: «Моти, садись. А тебя, маленькая мразь, я в наказание оставляю у школы...» Моти запрыгнул в машину, я растерялась и даже не попыталась ничего сделать или сказать, и они быстро уехали. Потом, конечно, папа добился того, что Коби уволили, хотя еще дней десять он нас возил, явно сдерживая желание меня ударить, так что я старалась не пересекаться с ним взглядом, но это все было потом. А пока я стояла в шоке у школьной ограды и вдруг увидела спускающегося по каменным ступенькам Бэнци.

– Ты что тут делаешь?

– Поссорилась с водителем подвозки, и он меня тут оставил, а ты?

– Оставили в наказание после уроков...

И мы расхохотались. Бэнци спросил:

– И что теперь?

– Пытаюсь понять, как доехать. Только мне нужно с пересадкой, а у меня как назло всего пять шекелей, на два автобусных билета не хватит...

– Слушай, пойдем ко мне. А вечером твой папа тебя заберет. У меня никого дома нет, но прямо у дома «Бургер Кинг», и мама дала деньги: мы там можем пообедать. Правда, картошку фри придется поделить на двоих. А потом я тебе покажу, как забивать угловой. Хочешь?

Еще бы! Конечно я хотела. Мы сидели в автобусе плечом к плечу (как раз так, как я мечтала перед несостоявшейся совместной поездкой на соревнования). А потом ели картошку фри из одного пакета. А я еще слизала всю соль со дна пакета, и Бэнци сказал:

– У тебя губы красные.

И я почувствовала себя как героиня фильма – губы саднили, я знала, что они чуть припухли. А еще Бэнци сказал:

– Ты всегда говоришь последнее слово, да? Это то, что произошло с водителем подвозки?

И я кивнула. А потом, когда он учил меня забивать угловой и каким-то своим, особенным жестом вытирал пот со лба, смуглого лба, такого цвета, каким мое лицо никогда не будет, сколько бы я ни загорала, и дул вверх, чтобы охладиться, и делал глоток из бутылки с водой, а один раз пролил немного воды на футболку, и на ней появилось мокрое пятно, и на его коже тоже блестели капли воды... В общем, достаточно было одного дня, чтобы я поняла: моя любовь к нему никуда не девалась.

Поэтому я лежала в постели и думала о том, что надо позвонить Бэнци. Только надо дождаться восьми, чтобы не раз-

будить никого. У Бэнци родители – восточные и соблюдают традиции, не то что мы... Они, может, даже постятся...

– Привет!

– Привет!

– Это я...

– Угу.

– Мишель.

– Я понял.

– Слушай, у меня есть одна идея.

– Ну?

– Просто очень надо смотаться из дома и...

– Давай!

– ...поедем кататься на роликах по дорогам...

– Ты глухая? Давай! Только как ты до меня доедешь или я до тебя?

– Черт! Об этом я не подумала. Ну ладно, значит...

– Подожди... Я попрошу брата подвезти меня на горном велике до моста в Гиват-Шмуэль.

– А он согласится?

– Он мой должник, я в пятницу смылся из дома на весь вечер, чтобы он мог обжиматься со своей девушкой... Знаешь, где мост?

– Конечно.

– Ты точно на роликах доедешь? Справишься?

– Не сомневайся.

– Ну, пока.

– Пока.

Мама и папа еще спят, и будить их ни к чему, совсем ни к чему. Быстро натягиваю джинсы и белую майку, потом меняю белую майку на синюю, не хочу быть в белом, не белое у меня настроение – в этот Судный день все пошло наперекосяк, – и не хочу я быть кораблем в утреннем свете, тем более что все пойдут в синагогу, а я – на трассу, на пустынную трассу. У каждого своя пустыня. Меняю майку и вылетаю из дома. Бэнци на горном велике брата ехать минут сорок, а вот сколько ехать мне – непонятно. На автобусе – всего три-четыре остановки, но на роликах? Зато можно ехать напрямую и сворачивать где угодно, и вот я уже еду, мчусь, пересекаю серый асфальт на своих новых зеленых роликах сначала по нашей сонной улочке, потом по двусторонней улице, которая ведет прямо к университету, а потом поворачиваю, и у светофора – еще раз, и попадаю прямо на трассу. Отсюда уже по прямой, долго, но по прямой. Это шоссе, соединяющее Рамат-Илан, Гиват-Шмуэль и Бней-Брак, зовется Геа, а многие называют его *гезном*¹⁷, потому что оно всегда переполнено машинами, шумное и там вечно пробки. А сейчас тут никого нет, кроме одной худенькой девочки на зеленых роликах, да еще встречаются одинокие велосипедисты, некоторые бросают на меня удивленные взгляды, а кто-то не замечает, а я

¹⁷ Гезн – ад (*ивр.*).

наслаждаюсь своим почти полным одиночеством.

Через несколько часов дороги заполонят дети и подростки на роликах и велосипедах (хотя в такие далекие поездки, конечно, мало кто пускается), а пока – утро и трасса на самом деле напоминает пустыню: серая асфальтовая пустыня, утреннее сероватое небо, довольно пасмурное. И я еду, еду, левой, правой, левой, правой, держать наклон чуть вперед – всё как учили, а ведь я хорошо катаюсь, отмериваю роликами ровный асфальт, проезжаю на красный – какая разница? И хочу визжать, кричать от восторга, от своей полной, безраздельной власти над этой большой трассой, и так хорошо, что папа, Марина, мама, мои ночные кошмары отступают и кажутся нелепыми, ведь есть только эта серая пустыня, которую я завоевываю прямо вот сейчас своими битыми, острыми коленками, тем более что лечу навстречу Бэнци и вместе нас ждет какое-то совсем удивительное приключение... И даже не замечаю, что солнце в небе все выше, начинает припекать и хотеться пить, и немного гудят ноги – я всего этого не замечаю, потому что все в моем теле направлено вперед, и глаза делают основную работу, поглощая асфальтный городской пейзаж... И тут я наконец подъезжаю к мосту, к условленному месту встречи, и как будто вмиг возвращается чувство собственного тела, и я понимаю, что вспотела, и майка прилипла к спине, и что у меня болят ноги, и хочется пить, а самое главное – Бэнци нигде нет.

Мы договорились встретиться на автобусной остановке:

так проще всего. Может, я не на той стороне? Взмываю вверх по ступенькам, перебегаю мост, спускаюсь – тоже никого. Нет, все правильно, думаю, раз они едут из Рамат-Гана, то та сторона – правильная. Бегу обратно. Они просто опаздывают. Может, у брата Бэнци прокололось колесо. Тогда нескоро доедут... А вдруг что-то случилось, они развернулись и поехали обратно домой? О нет, этого просто не может быть, это было бы слишком жестоко, я этого не переживу: после полета по шоссе Геа – такой облом? Вот если бы было можно взять с собой из дома телефон и по нему позвонить... Папа уже рассказывал, что такие телефоны есть, но очень мало у кого – телефоны, которые работают без провода на батарейках, и их можно брать с собой в любое место. Как удобно. Но что-то в них не так. Пропадает возможность приключения. Как можно по-настоящему заблудиться, если у тебя с собой телефон? Или разминуться? Разминуться – это приключение, уговариваю я себя.

Я стою на остановке у моста, перед глазами на противоположной стороне огромная реклама кока-колы, я смотрю на нее и жду. Мимо проходят люди в белых одеждах, наверняка идут в синагогу. Или возвращаются? Сколько же прошло времени? (Я не ношу часы – из принципа, мне нравится ощущать время изнутри, а не узнавать его по ходу стрелки, и вот теперь – пожалуйста, меня полностью подводит чутье, я не знаю, сколько времени жду: десять минут? пятнадцать? полчаса?) Почему в синагогу вдоль шоссе? Откуда они идут?

Некоторые в черных костюмах и шляпах – по такой жаре! Ультраортодоксы – как они могут в таких костюмах? Они ведь еще и постятся. При этой мысли еще сильнее хочется пить... Один, совсем молодой, ехидно бросает: «Девочка, не жди автобуса, он не придет». Он что, думает, что я – совсем debilка? Или иностранка? Кем нужно быть, чтобы ждать автобус в Израиле в Судный день?! Могу же я просто стоять на остановке! Я не отвечаю и продолжаю смотреть на горящие красным огнем железные буквы «Кока-кола», но на глаза наплывает белое. Это женщины – они в белых платьях и косынках, – те, кто не в париках и в белых чулках. Как странники (странницы) в пустыне асфальта. Подмывает спросить, где ближайший оазис, но боюсь ответа, боюсь, что это мираж... А вот и он – настоящий мираж – злое, еще больше потемневшее от ярости лицо Бэнци. Нет, не мираж: он спрыгивает с багажника горного велосипеда, его брат швыряет ему вслед ролики и уматывает. Вот он на меня уже кричит:

– Я тебя час ищу, час! Я уже почти сдался! Почти уехал домой! Да знаешь, сколько всего я успел пообещать брату, чтобы он меня там не бросил?!

– Но я тоже...

– Да не тот мост, – орет Бэнци, – не тот!!!

– Как не тот? Тот самый, у «Кока-колы». Какой еще?

– Да триста метров отсюда, дура!

– Но там уже не Гиват-Шмуэль, там Бней-Брак.

– Это рядом, РЯДОМ с Бней-Браком, ближе к нему, но

это Гиват-Шмуэль!!!

– Так откуда мне знать, какой мост?

– Я сказал: мост, который ближе к Рамат-Гану! Дура!

– А как ты вообще меня нашел?

– Догадался! Знаю, что у тебя в голове, что ты не ориентируешься и плохо знаешь Израиль, как все русские!

– Не смей! Это мы построили страну!..

– Ха!

– Зато ты чуть что истеришь, как все *триполитаим*¹⁸!

– Что-о-о? – Бэнци уже смеется. Наверно, за то, что его гнев так быстро переходит в смех, я в него и влюбилась.

– Дай попить, Бэнци, я умираю просто.

– Ты не взяла воду? Совсем ку-ку? Ты где родилась, в Сибири?

– Здесь! Просто забыла.

– Тупая блондинка?

– Какая я блондинка?

– Тебя «блондинка» возмущает, а не «тупая»? Ну, для меня блондинка...

– А ты жадный, как все восточные, жалеешь глоток воды.

– Да нет, конечно, пей, только все не прикончи, вдруг по дороге не будет кулеров. Все, хватит уже, стоп, стоп!

И я жадно пью из литровой бутылки Бэнци, на горлышке еще остался вкус его губ, и я пью не только воду, такую спасительную в пустыне, но и весь этот день, и в капельке

¹⁸ Так в Израиле называют евреев – выходцев из Ливии.

воды на моей коже отражается терракотовое небо и асфальт, и слизываю и ее. Теперь можно ехать дальше.

Решаем попробовать найти дорогу к дому Бэнци. А оттуда меня папа вечером заберет.

– Помнишь эту сказку про Гензеля и Гретель? Тебе надо было с велика брата хлебные крошки разбрасывать...

– Ну я же хорошо ориентируюсь, не то что некоторые.

Во время этого разговора мы уже всю едем дальше по шоссе Геа. Нет, не держась за руки, как в дурацком кино, да и не хочется даже: ладони липкие, потные, – но плечо к плечу, размашистыми движениями. Бэнци пониже меня, но совсем чуть-чуть. А я еще широко размахиваю руками, и он меня передразнивает, но мы едем, держим темп, уже проехали тот, другой, злополучный мост, и вдруг Бэнци говорит:

– Надо съехать с шоссе. Ищи съезд.

– Зачем?

– Догадайся.

– Не могу догадаться.

– Ну, во-первых, мне надо отлить... – (именно так и выразился – «отлить», а не «пописать», как малыши говорят). – А во-вторых, это слишком просто – отсюда найти мой дом. Четыре поворота, и я их знаю. А я хочу уровень посложней, как в компьютерной игре. Давай свернем, а потом будем искать правильную дорогу...

Спорить с Бэнци бессмысленно. Да мне и нравится его

план. Как раз в моем духе. Только «компьютерная игра» – из чужого словаря. Но, главное, есть точка пересечения. Все равно мы с ним одной крови – я и Бэнци. Интересно, читал ли он «Маугли»? Он, наверно, не очень любит читать. Но даже это я готова ему простить.

– Постой тут, – говорит Бэнци и уходит в кусты. Совершенно не смущаясь, как будто так и надо. Вспоминаю, как Моти на том «свидании» рассказывал, что знает, «где пока-кать». Я испорчена своими «русскими» родителями и их русским воспитанием, я другая. Иногда мне даже кажется, что я – не «настоящая» израильтянка. Но кто я тогда?

Поворачиваюсь спиной к кустам, очень надеюсь, что не услышу, как Бэнци «отливает», упираюсь взглядом в заколоченный киоск и читаю наклеенную на него рекламу, и вдруг какое-то шебуршание в кустах. Только оттуда выходит не Бэнци, а пес. Не просто пес, а как будто придуманный специально для меня. Золотистый ретривер, но не белесый, а темно-золотой, практически рыжий, как я. Сразу подходит ко мне и ластится, трется мордой о мою руку. На секунду мелькает мысль: а вдруг это Бэнци превратился в собаку? Но нет, Бэнци стал бы гладкошерстным пятнистым пойнтером или поджарой гончей шоколадного цвета. А вскоре из кустов выходит и сам Бэнци, в нормальном человеческом виде.

– Поехали? – Бэнци делает вид, что никакого пса нет.

– Смотри, у него нет ошейника. Его выбросили на улицу! Мы должны его взять!

– Куда? Мои родители не согласятся на собаку.

– Мои согласятся. Наверное. Но это неважно, надо просто найти ему дом.

– Но мы же едем ко мне. Я даже на полчаса не могу впустить к себе это чудище.

По моему лицу уже струятся слезы. Вот этого я не смущаюсь. Если мне нужно плакать, то плачу, плевать, что кто-то видит. Из-за мальчика не стала бы, но из-за собаки – совсем другое дело. Бэнци сдается:

– Ну ладно. Мы его привяжем во дворе, когда ко мне поднимемся.

– Я его не брошу.

– Ну хорошо-хорошо. Только не плачь.

– Он, наверно, голодный и пить хочет, смотри, как он тяжело дышит...

Выхватываю у Бэнци бутылку – он даже не успевает ничего сказать. Оглядываюсь: где мусорка? Возле мусорки всегда можно найти какую-нибудь пластмассовую емкость. Но, как назло, ничего не видно. Открываю мусорный бак и нахожу пустую коробку из-под *коттеджа*¹⁹. Наливаю туда воды, и Бэнци сразу кричит:

– Стоп, стоп, ты на это животное всю воду истратишь!

Потом принюхивается, морщится и говорит:

– Фу, от тебя пахнет мусором.

И я инстинктивно выливаю остаток воды на руки, а Бэнци

¹⁹ Коттедж – зернистый солоноватый творог.

дико вопит:

– Теперь ищи кулер, ищи кулер! А то у нас будет солнечный удар!

Но я его даже не слушаю. Пес – мой пес – жадно пьет воду. А потом благодарно лижет мои руки. Бэнци опять морщится. Мне все равно.

Мы катимся дальше – не по трассе, а по тихим незнакомым улицам, а пес бежит за нами. Я стараюсь ехать не так быстро, чтобы пес не выбился из сил, а Бэнци раздражается и, наоборот, прибавляет ходу. Так мы и мчимся гуськом: впереди смуглый мальчишка в красных штанах футбольного клуба «Маккаби», следом за ним – рыжая девчонка в синей футболке, а за ней – рыжий золотистый ретривер. А вокруг нас подозрительно меняется фон. Все меньше людей в обычной одежде. Все больше мужчин в черных шляпах и черных костюмах, хотя их и не так много: уже полдень, а то и позже, все сидят по домам или в синагоге, – но определенно все больше и больше черной ткани, угрожающих черных шляп...

– Бэнци! – кричу я, и он оборачивается. – Бэнци!.. Мы не там свернули, Бэнци.

Бэнци все еще зол на меня, но тут он смотрит вокруг, и я вижу на его лице легкий испуг.

– Бэнци, – говорю я дрожащим голосом, – мы заехали в Бней-Брак...

Мы с Бэнци смотрим друг на друга. Но делать нечего. Повернуть назад? Но куда?

Любой израильтянин, конечно, сразу поймет, почему нам беспокойно и почему мы говорим «заехали в Бней-Брак» с почти такой же полной ужаса интонацией, как если бы «заехали в Газу»... Про религиозных из Бней-Брака рассказывают кучу историй: как они закидывают камнями заезжающие к ним в субботу машины или плюют в «нескромно» одетых женщин, которые забрели в их район. А у нас двойное преступление: правда, не на машине, а на роликах, но не в субботу, а в «субботу всех суббот», самый святой день – Йом-Кипур. Я еще, конечно, не женщина, у меня даже грудь не очень-то пока растет, но одета совсем не скромно: джинсовые шорты и майка без рукавов, видны острые локти и острые коленки...

А у меня еще личное неприятие Бней-Брака, черных шляп, слова «религиозный» – из-за того, что произошло в нашей семье. Папин младший брат Гершон (в прошлом Гриша) каким-то образом вместо армии попал в *ешиву*²⁰ и так в ней и остался, потом женился и переехал из Иерусалима на территории²¹ в Иудейской пустыне (не из каких-нибудь идеологических соображений, просто там жилье дешевле). А мой

²⁰ Ешива – высшее религиозное учебное заведение.

²¹ Имеются в виду территории, оккупированные Израилем в 1967 году и называемые израильскими властями «спорными». Здесь конкретно подразумевается Западный берег.

папа, мой принципиальный, воинственно настроенный папа, не смог этого пережить, назвал Гершона бездельником и нахлебником, обвинил в том, что он использует государство, и порвал с ним. Совсем перестал общаться с родным братом. Это случилось еще до моего рождения, с тех пор у Гершона родилось десять детей, мои двоюродные братья и сестры, но я ни разу их не видела, потому что мне папа тоже запрещает с ними общаться – на всякий случай, чтобы я не «набралась глупостей». Папины родители очень переживают, но не смеют папе ничего сказать. К ним у папы отдельный счет. Ведь когда у Гершона стали рождаться дети, бабушка с бабушкой перебрались в Иудейскую пустыню, в их поселение Эфрат. Они к ним ходят почти каждый день и помогают, хотя, если верить рассказам Майки, жена Гершона сама прекрасно справляется: она быстрая и сильная. Как Терминатор, но в хорошем смысле.

Майка – это папина и Гришина сестра, самая младшая. Она приехала в Израиль совсем малышкой – поздний ребенок. Ей уже скоро двадцать пять лет, но она даже не думает о замужестве и делает что хочет. То работает, то учится и все никак не может найти себя. Я ее обожаю. И мой папа тоже, хотя он строг с ней, как будто она его ребенок, а не сестра. С Гершоном сестра тоже общается, часто навещает в поселении и не раз говорила папе, что он дурак. Гершона Майка тоже считает слегка поехавшим, но она его любит: в конце концов, он счастлив, ну и черт с ним. А папу она называет

упрямым ослом, я слышала. Это только ей дозволено. Но и на нее папа огрызается.

Так что у нас в семье ультраортодоксы – больная тема. И при виде черных шляп и черных костюмов я чувствую, что сжимаюсь, съеживаюсь, становлюсь очень маленькой...

Воды нет, я истратила последнее на собаку, и теперь у меня легкое чувство вины, хотя все равно ни о чем не жалею. У Бэнци урчит в животе. Я тоже ужасно хочу есть. И пить. И писать. И сесть (а еще лучше – лечь). И домой. Мы автоматически продолжаем нестись вперед, не сбавляя темпа, и вот уже окончательно ясно – по вывескам, по прохожим, да и знаем мы этот городок: это Бней-Брак! Прохожие – и мужчины (черные шляпы, бороды), и женщины (в платках, полностью покрывающих волосы, или в роскошных париках из настоящих волос, в белых или прозрачных чулках, в платьях, закрывающих колени, с длинными рукавами) – смотрят на нас с любопытством. Без злости, просто с любопытством. Но мне и от этого не по себе. Дистанция между мной и Бэнци сократилась (так нам уверенней), мы уже не едем, а понуро идем, насколько можно «идти» на роликах, и сзади плетется мой бедный найденный пес, но не отстает. Я все жду: когда же в нас кто-то плюнет? Или бросит камень? И от испуга пялюсь в лица прохожих: кто? Кто первый? Вспоминаю русский стишок, который мама читала мне в детстве: «А в избушке – людоед: заходи-ка на обед...» А тут, куда ни посмотри, – потенциальный людоед, логово людоедов, и

мы сами сюда пришли: давайте, пообедайте нами! И вдруг от напряжения, неожиданно для самой себя, начинаю реветь... Бэнци и пес смотрят на меня в недоумении и, кажется, сейчас сами заревут...

И тут чей-то звонкий, задорный голос говорит: «Дети! Дети!», и я понимаю, что обращаются к нам. Поднимаю зареванное лицо и вижу близорукие голубые глаза под очками в толстой оправе, рыхлое, как будто чуть опухшее лицо, парик – каштановое каре, кремового цвета платье на теле, как будто сделанном из булочек разных размеров. Так велико несоответствие этого девичьего, почти детского голоса с его обладательницей, что не нахожу слов и тупо молчу.

– Как вас зовут? Я Хани! Что у вас стряслось, дети?

Надо же, и имя не соответствует. Если бы Хана – тогда да, понятно: почтенная мать семейства; а тут – Хани, будто девчонка. Но, похоже, нами никто не собирается обедать. Перестаю реветь, вытираю рукой глаза. Из-за массивной спины Хани выглядывают пять или шесть девочек разных возрастов, но все как одна – копия матери, разве что без парика и не такие круглые. Как матрешки, думаю. И сбивчиво, путано начинаю объяснять, что мы заблудились, нашли пса, закончилась вода, дом далеко и даже не совсем понятно где именно... Бэнци молчит, наверное, думает, что я и сама неплохо справляюсь.

– Сколько вам лет, дети? – спрашивает Хани. – У тебя еще

не было *бар-мицвы*²², мальчик?

– Нет, я в шестом классе, мне даже двенадцати нет, – послушно отвечает Бэнци.

– А тебе? Есть двенадцать?

Качаю головой:

– В декабре будет. – А сама думаю: «Какое ей дело, сколько нам лет?»

Хани расплывается в улыбке, от которой ее лицо становится еще шире, а глаза превращаются в щелочки.

– Отлично! Замечательно! Тогда можно вас и накормить, и напоить!

Точно, как же я не догадалась: ведь мы, получается, несовершеннолетние и по еврейским законам не обязаны соблюдать пост. От усталости я страшно туплю и продолжаю молча смотреть на Хани зареванными глазами.

– Пойдемте, – говорит она, – мы вас не съедим!

И я невольно улыбаюсь: как она догадалась, о чем я только что думала?

Мы плетемся за Хани и ее матрешками, только в другом порядке: я, пес, а следом – взъерошенный, озирающийся по сторонам Бэнци. У подъезда Хани спрашивает:

– Это твоя собака? – Я киваю, прежде чем Бэнци успевает что-то сказать. – Собаку придется оставить здесь, она тебя

²² Бар-мицва – религиозное совершеннолетие у мальчика (13 лет), с этих пор он считается взрослым и полностью ответственным за свои поступки. У девочки религиозное совершеннолетие – бат-мицва – наступает годом раньше, в 12 лет.

подождет, – говорит Хани и слегка пожимает плечами, как будто извиняется; можно подумать, это такой печальный и объективный факт, от нее не зависящий.

Яростно мотаю головой:

– Я не могу его бросить, он мой, мой! – выпаливаю, как будто спорю с кем-то.

– Ну хорошо. – На лице Хани все та же ровная, спокойная улыбка. – Я тебе сюда все принесу. Мальчик, ты поднимешься?

Бэнци качает головой – он как будто онемел. Хани опять пожимает плечами, она, наверно, думает, что мы очень странные.

– Ну как хотите, – весело говорит она, ничуть не обидевшись.

Через десять минут она спускается с подносом, на котором куча разной еды, бутылка минеральной воды и одноразовая посуда, а старшие девочки держат в руках пластмассовые стулья.

– Вы же не лошади, чтобы есть стоя, – говорит Хани и смеется, чуть закинув голову, и тут же бросает старшей девочке: – Ривки, тебе надо держаться, лучше уйди от соблазна.

Но Ривки поводит плечом в знак отказа – как в их семье любят этот жест! (А у нас есть такой жест – объединяющий? Нет, у каждого свои характерные жесты. Может, поэтому мы и не настоящая семья? Нет, не буду об этом сейчас думать...)

Мы с Бэнци почти хором говорим «спасибо», и Хани

опять заливается смехом, а потом молчим, потому что наши рты заняты гуляшом и яичным салатом. Мне хочется покормить пса, но под пристальным взглядом Хани это сложно сделать. Набираюсь смелости и спрашиваю:

– А почему вы не любите собак?

– Мы хорошо относимся к собакам, – невозмутимо отвечает Хани, и я приободряюсь и даю псу попить из моего стакана – вроде компромисса. – Просто у нас не принято держать их дома.

– А почему? – не унимаюсь я, игнорируя взгляд Бэнци, который как бы говорит: *какая тебе разница? Не лезь!*

– Знаешь, что означает слово «собака»? – спрашивает Хани. – *Кэлэв*, то есть *коль лэв*, буквально «весь – сердце». Собака все делает только сердцем, все ее порывы и побуждения – всё от сердца.

– Да, так и есть, – перебиваю я, – но ведь это прекрасно! Пес – весь сердце, да!

– Я бы не сказала, – мягко возражает Хани, – как же насчет разума? Человеку полагается руководствоваться разумом, а не чувствами. Поэтому мы не держим их дома, чтобы не брать с них пример.

Я украдкой скармливаю псу кусочек мяса из гуляша, он облизывает мои руки и заглядывает в глаза своими золотистыми глазами, и в них уже любовь. Весь сердце, весь сердце. Не так уж это плохо...

– Оставайтесь у нас, пока не выйдет Йом-Кипур, – предла-

гает Хани, – отдохнете, а потом позвоним вашим родителям, они вас заберут. Уже через несколько часов стемнеет.

– Сейчас разве не полдень? – спрашиваю с ужасом.

Хани смеется:

– Сейчас почти три часа дня! А почему ты не носишь часы?..

– Я... Мне нравится угадывать время... Хани, мои родители, наверно, с ума сошли от волнения, мне надо срочно домой, сейчас.

– И мои тоже! – Это первое, что сказал Бэнци за все это время, кроме «спасибо».

Хани пожимает плечами – уговаривать не будет. Только объясняет нам, куда свернуть, чтобы выехать из Бней-Брака обратно на трассу – там уже разберемся по указателям.

– Пойдем? – то ли говорю, то ли спрашиваю.

И тут одна из девочек, вторая или третья по старшинству, выкрикивает мне в лицо:

– А это правда, что ты не веришь в Бога?

И я сразу резко отвечаю:

– Нет, неправда! – просто из чувства протеста, хотя на самом деле я не знаю.

И мне самой страшно от того, что я могу сейчас узнать, поэтому поворачиваюсь спиной, чтобы не видеть реакцию Хани и ее дочерей, и еще раз кричу:

– Спасибо, Хани, большое спасибо! – и еду вниз по улочке, по направлению к трассе, дальше от этого города черных

шляп, белых чулок и платьев, от остатков яичного салата и пластмассовых стульев, от вопросов о Боге, а Бэнци и пес едва поспевают за мной, то один обгоняет другого, то наоборот, а я даже не оглядываюсь назад, как будто боюсь обратиться в соляной столп.

Мы выезжаем на трассу, и только тут я понимаю, что в этом покинутом мной городе, который строго и едино соблюдает пост – от заката до заката, случилось то, чего я внутренне всегда желаю: время там остановилось, не навсегда, но на эти сутки. Не зря я боялась оглядываться назад: в такие города опасно заезжать. Но именно сегодня я могла делать то, что мне нравится, – чувствовать время изнутри. При этом я промахнулась. Просчиталась. Часа на три. Может, из-за того, что нарушила какое-то правило?

Через час мы доковыляли обратно до того места, откуда начинали путешествие, к автобусной остановке у моста напротив щита с символом кока-колы... Я вижу, что Бэнци еле стоит на ногах, но понимаю, что он в этом ни за что не признается. Пожалев его, протягиваю жалобным голосом: «У меня скоро ноги отвалятся». И это правда.

Я знаю, что недалеко от моста – детская площадка. Мы бредем к ней, снимаем ролики и валимся на траву. А пес ложится рядом – он нас сторожит.

– Позвоним родителям? – Бэнци кивает в сторону автомата на углу.

– Потом. Они все равно не смогут выехать, пока не стемнело.

– Но они волнуются, ты сама говорила!

Пожимаю плечами.

– Я позвоню своим. – Бэнци надевает ролики, катится к автомату и сразу возвращается. – Черт, у меня же карточки нет.

Еще недавно нужна была монетка – *асимон*, эти монетки звенели в кошельке, часто путаясь с шекелями, хотя асимон чуть больше, и в нем дырка. А теперь – всё, асимоны стали ненужными, как и наша старая валюта, лиры (но лиры были еще до моего рождения). Теперь у всех карточки. И у меня тоже. Дома.

– Поищи наверху, – говорю. – На самом автомате сверху. Иногда бывает, что кто-то оставляет карточку, на которой совсем мало денег, но на один звонок хватит.

Невероятно, но я права! Бэнци звонит своему папе и успевает сказать, где мы. – Тут разговор прерывается.

– Повезло! – ухмыляется Бэнци. – У папы не было шанса высказать все, что он обо мне думает. А пока приедет, остынет.

Смотрю на часы. До темноты еще как минимум час.

– А почему ты не хотела звонить своим родителям, Мишель?

Пожимаю плечами – хороший у Хани этот жест, может выразить что угодно, надо взять его на вооружение. Меняю

тему:

– Они ничего оказались, да?

– Кто?

– Эта семья: Хани и дочери. Если бы не они, не знаю, что бы мы делали...

– А ты что думала? – хмыкает Бэнци. – Религиозные – такие же люди, как мы.

– Ты это серьезно? Ты это мне говоришь после того, как ты все время молчал, как будто кошка съела твой язык?!

– Просто не знал, о чем говорить, ну и боялся что-то ляпнуть обидное.

– А говоришь: «Такие же, как мы».

– Такие же люди. Но другие, конечно. Может, этим девочкам вообще нельзя с мальчиками разговаривать, откуда я знаю?

– Ну, это ты уж загнул. Но в игру «Двести поцелуев» они, конечно, не играют, это точно!

И мы оба смеемся и стараемся сделать вид, что упоминание поцелуев нас совсем не смущает: мы же не такие, не религиозные, мы нормальные. Хотя нормальные ли?..

– Но ведь вы, восточные, все немного религиозные, да?

– Мы соблюдаем традиции, это не то же самое. Мы просто не смешивались, в отличие от вас, и всегда продолжали быть евреями.

– Откуда ты знаешь про нас? В семье моей мамы были раввины – семь поколений! И у папы тоже какие-то там рав-

вины были, просто не столько, как у мамы. А его дедушка полюбил революцию и верил в коммунистическую партию, а его папа, кажется, сам не знал, во что верил, ну а мой папа – он... он атеист.

– Значит, становится все хуже и хуже с каждым поколением? – смеется Бэнци. – Тогда ты должна стать сатанисткой или типа того...

– Перестань! И кто сказал, что не верить – это плохо? Или хуже?

– Надо во что-то верить.

– А ты сам... веришь в Бога?

– Конечно. Я просто особо не анализирую. Но я думаю, что атеистов не бывает. Все верят в Бога, просто по-разному, и по-разному это называют.

– Интересная мысль.

– А ты Хани наврала? Ты ведь не веришь?

– Не знаю. Я еще не решила. Иногда кажется, что верю. А иногда... просто злюсь, потому что... Так много запретов, мне это не нравится. И еще религиозные иногда так ужасно одеваются – неужели Бог так хочет? Ведь если Бог – высшая форма истины, значит, все должно быть красивое...

– Но запреты – они тоже могут быть красивыми. Иначе все дозволено, и это уже безобразно. Как то, что Хани сказала про собак. Если только сердце тебя ведет, то рано или поздно это плохо закончится. Вот и есть запреты – ограничить сердце. Понимаешь?

- Кажется, да. Я ведь люблю Судный день, это мой любимый день в году.
- Да ладно?!
- Ага. Самый красивый день. Хотя больше всего запретов.
- Ты странная.
- Ты же сам говорил...
- Но ты ведь эти запреты не выполняешь. Вот мы с тобой поехали на роликах...
- Мы дети, нам можно.
- А через год не поедешь? Будешь поститься?
- Не знаю, не знаю! Что ты пристал ко мне, Бэнци? Я не знаю! Я сама не понимаю. И что, Богу правда так приспичило, чтобы я постилась и не пользовалась транспортом или не смотрела телик в шаббат и не ела колбасу с маслом²³? Думаешь, ему это так все важно?
- Я тебе раввин, что ли? И кто к кому пристаёт?
- Нет, скажи: разве недостаточно того, что я думаю, что Йом-Кипур – это очень красиво, того, что я люблюсь этим днем?
- Но ты любишься снаружи; получается, ты не часть этого.
- Часть! Когда я иду в синагогу слушать Коль нидрей, я часть. Но красивое, по-моему, только со стороны и можно увидеть. Я вообще часто со стороны. Как бы здесь, но одно-

²³ По законам кашрута, которые определяют, что дозволено или запрещено в пище, нельзя смешивать мясное и молочное.

временно со стороны.

– Это как?

– Ну не важно. Сложно объяснить.

– Ты реально странная.

– Какая есть.

– Это комплимент.

И в глазах у Бэнци – то, о чем я мечтала, о чем даже боялась мечтать, но вместо сумасшедшей радости я испытываю страх, мелкий и беспомощный страх, и делаю вид, что ничего не заметила.

– А еще я Тору люблю.

– Что-о-о?

– Да, это мой любимый предмет.

– Скукотища.

– А какой твой любимый предмет?

– Физра.

Я рада, что Бэнци так сказал. Он подарил мне объективную причину перестать любить его, и к черту все мои усилия с футболом...

– А что тебе так в Торе нравится? Тебя правда волнуют все эти люди, которые жили много тысяч лет назад и которых, скорее всего, даже не было?..

– Ты не понимаешь. Это же про нас. И про нас тоже. Все эти истории. Неужели ты не видишь?

– Ну-у-у...

– Знаешь, какой мой любимый эпизод?

– Ну?

– Про Йосефа. Когда он уже стал могущественным человеком в Египте, правой рукой фараона, и из земли Ханаанской приходят его братья просить хлеба, потому что везде голод, кроме Египта, и братья не узнают его, а он-то их узнал, но не выдает себя, говорит с ними через переводчика, подвергает их испытаниям, в том числе подкидывает серебряный кубок в мешок Биньямина, якобы тот его украл и должен теперь в наказание остаться в Египте, а старший брат – Йегуда – говорит: «Нет, мы не можем вернуться без Биньямина, ведь один наш брат уже погиб, и от любимой Рахели только Биньямин остался у отца, возьми лучше меня, только отпусти Биньямина...»

– Да помню я, что ты пересказываешь? Я, конечно, не лучший ученик, но не настолько!

– Ну мало ли. Не перебивай, Бэнци, я подхожу к тому, что меня волнует. Вот он, мой любимый момент: Йосеф видит, что братья раскаялись, что они казнят себя за то, что продали его в рабство, и может наконец не сдерживаться больше, отпустить свою обиду, и он кричит страшным голосом – помнишь? – именно страшным, потому что ему тяжело уже сдерживаться, – кричит, чтобы все вышли и оставили его наедине с братьями, и плачет, плачет от облегчения, потому что именно в эту минуту он простил их, а потом говорит уже на иврите: «Я – Йосеф, брат ваш!» И они, наверно, тоже плачут и бросаются обнимать друг друга – там подробно не написа-

но, но это главное, когда он плачет, и снимает с себя «маску», и открывает, кто он, вот эта первая фраза на иврите – это как такой очень счастливый и настоящий конец спектакля, а еще – очень приятно, наверно, простить после стольких лет, увидеть своих братьев, униженных и зависящих от него, и понять, что нет больше гнева и обиды, есть только любовь и что они – родные люди, и простить, как же это должно быть приятно! И красиво. Это очень красиво...

– Ну ты даешь!

– А у тебя есть любимая история из Торы?

– Не знаю. Я не умею так говорить, как ты, красиво. – Он усмехнулся. – Но мне просто... Мне всегда было жалко Эсава. Мне казалось, что он больше любил и почитал отца, чем Яаков. Ну неспособный был, поэтому не учил Тору, а охотился. Но получается, этот Яаков сидел в шатре и учил Тору, весь такой возвышенный и недостижимый, а Эсав – он простой, неотесанный, он Ицхака кормил, брил ему бороду, ухаживал за ним – такие простые человеческие вещи...

– Так Ицхак его и любил больше.

– Да, но Бог больше любил Яакова, и первородство получил Яаков, причем обманом. Где тут справедливость? И почему... Почему Бог предпочитает умников? Так ведь получается...

Нет, все-таки не так просто будет перестать любить Бэнци. Но я постараюсь. Я обязана.

Мы оба так устали, что даже говорить нет сил, и разговор сам собой угасает. Молча лежим на траве и смотрим вверх, в начинающее темнеть небо. Я засыпаю, и мне снится очень странный сон. Во сне я вершу суд над папой и мамой. При чем я – и судья, и обвинитель в одном лице, а адвокатов у папы с мамой нет, они защищают каждый сам себя. Начинаю я с папы:

– Вызываю обвиняемого Зэва (Владимира) Аронсона, также известного как профессор Аронсон. Как ты предпочитаешь, чтобы к тебе обращались?

Папа смущенно улыбается, как бы давая понять, что ему все равно.

– Хорошо, тогда, противный Володька Аронсон, отвечай правосудию: как ты мог завести роман с этой жирной, прокуренной Мариной? Как мог рисковать своей семьей?

– Так получилось, я это не планировал, просто вспыхнула искра и...

– «Вспыхнула искра»? – передразниваю я. – Какое банальное выражение для профессора литературы!

– Так получилось, – беспомощно повторяет папа, – так получилось...

– Получилось, да? – свирепо накидываюсь на папу. – Ты что, Володя, трехлетний мальчик, который описался? Тебе уже под сорок лет, у тебя появились первые седые волосы, ты начинаешь лысеть!

– Где? Где? – пугается папа и запускает ладонь в свою ше-

вельюру. – Покажи мне где, это неправда, я протестую!

– Ах вот в чем дело, Володя, вот что тебя волнует! Это кризис средних лет? Ты хотел доказать, что все еще красивый, что тебя любят женщины? А как больно будет Лили? А Мишке? Почему ты не подумал о своей единственной дочке?

– Я подумал, я люблю их, они для меня всё, я совершил ошибку! Имею я право на ошибку, ваша честь?

– Не имеешь, Володя, не имеешь! Люди, у которых есть дети, не имеют права на ошибку, черт возьми! И о чем ты только думал?

– Я не думал, ваша честь, – папа чуть не плачет, – в тот момент я не думал. Это был... призыв... позыв... Э-э-э, зов сердца... Я действовал по велению сердца!

– А-а-а, по велению сердца, значит! Как собака?! Но ты же не собака, Володя, ты – человек. А человеку надо руководствоваться разумом! Для этого есть запреты! Для этого есть Бог, наконец!

– Но я не верю в Бога, я атеист, я протестую!

– Отставить! Если бы ты верил в Бога, ты не изменил бы своей жене!

– Это свободная страна, у нас демократия! Протестую, протестую! – вопит папа, которого сразу выводят из себя разговоры о Боге.

– Вот и получай свою свободу, господин Аронсон, несносный профессор Аронсон! Итак, ты приговорен к вечности в

одинокестве!

— К вечности?! — ужасается папа. — Нет, о нет, этот приговор несправедлив! Я требую апелляции!

По папиному лицу текут слезы. Он ругается, проклинает Бога и его несправедливый мир, сквернословит и плачет. Мне должно быть его жалко, но я холодна и неумолима.

— Уберите его! — И тем же ледяным голосом говорю: — Вызывается обвиняемая Лили Аронсон, в девичестве Аппельбаум.

Растерянная мама, заспанная, в ночной рубашке, с растрепанными волосами, занимает свое место.

— А в чем меня обвиняют? — спрашивает она.

— А вы не догадываетесь, госпожа Аронсон? — язвлю я. — Твой муж тебе изменяет, а ты и думать не думала и не подозревала — это нормально?

— Значит... это моя вина? — шепчет мама, и на секунду жалость пронзает мое застывшее сердце, но я непреклонна и продолжаю:

— Конечно, госпожа Аронсон, а как по-твоему? Что, всем женщинам изменяют? Посмотри на себя. Как ты выглядишь? Ты же не вылезает из ночных рубашек и халатов, у тебя волосы нечесаны уже третий день!

— Я... — мямлит мама, — я ведь в основном дома, и Зээву это никогда не мешало...

— Откуда ты знаешь? Может, он просто не говорил? Но ты ему примелькалась, вот он и клюнул на эту Марину в ее пош-

лых кофтах с леопардовой раскраской и чулках в сеточку?!

– Я...

– Вот опять ты мямлишь! Так ты и с ним! Во всем соглашаешься, потакаешь ему, даже не смеешь сказать, что веришь в Бога, потому что ему это неприятно! Ты ему просто наскучила с этой своей покорностью, надоела! И даже сейчас ты ничего не скажешь, не будешь кричать и бить посуду, как любая другая нормальная женщина на твоём месте, ты просто замкнешься в себе и будешь валяться в постели, как ты делаешь после ваших ссор, точнее не ссор, потому что ссорится только папа, а ты тихо плачешь в подушку и закрываешься у себя в комнате, но, может, лучше, чтобы ты кричала и топала ногами, мама, чем вот так наказывать, потому что это мучительно, и мучительно гадать, о чем ты думаешь и когда придешь в себя, и если это так мучительно для меня, то представляю, как это мучительно для папы...

– Я... я...

– Не надо! Скажи что-то человеческое, чтобы я знала, что ты живая, а не картинка из книжки, может, папа просто захотел кого-то живого, эту очень живую Марину – в ее полном теле жизни через край, она и накричит, если что, или поцарапает этими своими длинными красными когтями, а ты, мама, ты даже не можешь ничего сказать в свое оправдание, ты так же предала меня, как папа, даже хуже...

Тут я просыпаюсь, так и не успев ни к чему приговорить

маму. На щеках у меня слезы. Надо мной встревоженное лицо Бэнци.

– Ты в порядке? Тебе снился кошмар?

– Да. Нет. Я спала?

– Минут двадцать. Я боялся тебя будить, но ты стала кричать...

Я сажусь. Жара спала. Уже почти темно. Зажглись фонари. Они освещают золотистые глаза моего пса, который в темноте, положив голову на передние лапы, похож на благородного сфинкса.

– Не смотри на меня! Я некрасивая, когда плачу.

– Ты красивая. Особенно глаза. И волосы.

– Такое говорят только некрасивым женщинам – про глаза и волосы.

– Что за бред?

– Это не я придумала, это одна женщина так говорит, в книге, которую мне папа давал почитать, не совсем книге, это пьеса, такого Чехова – знаешь?

– Нет.

– Такой русский писатель. У него все долго страдают и, похоже, наслаждаются этим.

– Мишель... я не хочу про Чехова, я пытаюсь...

– Не надо.

– Но почему?

И уже про себя тихо умоляю: не надо, Бэнци, не надо, пожалуйста, не надо, только не сейчас, особенно не сейчас, но

он меня не слышит и, даже если бы я говорила это вслух, все равно не слышал бы...

– Давай дружить, Мишель.

– Мы и так дружим.

– Ты знаешь, о чем я. Давай дружить как мальчик и девочка.

– Зачем?

– Я тебе больше не нравлюсь?

– Нравишься. Просто зачем? Ведь сейчас все хорошо.

– Что значит «зачем»? Скажи тогда прямо, что я тебе не нравлюсь!

– Нравишься. Но...

Бэнци не понимает, он обижается. А как мне объяснить ему весь сегодняшний день и то, что я стала другой, совсем другой?

– Мне никто из девочек не нравился, никогда, потому что все фальшивые, а ты не врешь, поэтому ты мне нравишься, очень, хотя ты странная...

Все именно как я хотела, он даже теми же словами говорит, почти. И при этом все не то, не то!

– ...Я говорил с Рони... Она сказала: ты согласишься и что ты давно меня любишь.

– А ты не знал?

– Я и сейчас не знаю. Я не понимаю тебя.

– Ты же сам говоришь: я странная.

– Ты любишь меня или нет?

– Это неважно.

– Я имею право знать.

– Я... да. Ответ – да. Но...

Тут Бэнци должен был меня поцеловать, таким длинным поцелуем, как в кино. Но он, кажется, не знает, как это делается, он просто смотрит на меня своими большими черными глазами, и его губы бледнеют, и это сразу видно, оттого что у него такая темная кожа. А я сбивчиво, путано говорю и чувствую, что мое лицо горит (слава богу, уже совсем темно и не видно):

– Понимаешь, Бэнци, в моей жизни что-то случилось, я не могу рассказать что, это тайна, и она не моя, но я ее узнала, и я просто... Я теперь думаю по-другому. Я... не хочу больше никакой любви в своей жизни, не верю в любовь: она какая-то дурацкая, и от нее глупеют и становятся не собой, а я всегда хочу быть собой, для меня это важно, Бэнци, ведь полностью доверять другому человеку невозможно, люди разные, и в любой момент любовь у кого-то закончится, а у тебя останется или наоборот, но, короче, кто-то будет несчастным, и зачем, зачем? Особенно когда есть дружба, и это гораздо круче, Бэнци, это гораздо лучше, чем любая любовь, поверь мне, ты просто это не понимаешь, но поймешь, поэтому я... я не отказываюсь, я хочу с тобой дружить, но не как «девочка с мальчиком», а просто как Мишель с Бэнци, я хочу именно дружить, потому что это безопасно и надежно и это, вероятно, навсегда.

– Ты врешь, Мишель. Такое говорят, когда человек тебе на самом деле не нравится и ты его утешаешь...

– Нет, Бэнци, такое говорят, когда сам себе не нравишься!

– Я не понимаю.

– Я сама не понимаю. Как в моем сердце столько чувств сразу? Иногда мне кажется, что я в себе не умещаюсь, что я больше, чем мое тело, и что одной жизни мне мало, что в одной жизни никогда себя не выразить.

Я плачу, злюсь и плачу, потому что Бэнци глупо обиделся, и мне не верит, и меня не понимает, и никто меня не понимает, и удивительно ли, раз я не понимаю сама себя?

Подъезжает белая «тойота» – это папа Бэнци. Вытираю слезы тыльной стороной ладони, кричу:

– Привет, Шломо!

– Привет, Мишель, – отвечает папа Бэнци. – Давай сначала тебя завезем, это ближе. – И тут его взгляд падает на пса. – Это что, твой, он тоже с нами?

– Да, пап, это ее пес, – быстро говорит Бэнци. – Я потом уберу всю шерсть с заднего сиденья, обещаю.

И хотя он не смотрит на меня и демонстративно садится впереди, я знаю, что Бэнци простил, что он понял.

Дверь не заперта, и я тихо проскальзываю домой – проверить обстановку и понять, как сильно меня будут ругать. В зале и на кухне пахнет валокордином – мама постоянно покупает эту вонючую штуку в русских лавочках, вместо того чтобы пить валерьянку в таблетках, как все нормальные

люди. Папа на диване читает газету, мама возится на кухне, но сразу выходит, как только слышит, что закрылась входная дверь, — у нее очень чуткий слух. Мама вытирает руки о передник, папа поднимает глаза, и оба смотрят на меня — не бросаются, плача, обнимать, не ругают, хотя у мамы на лице следы слез, а папа нервно копошится в своих волосах. Они выглядят как люди, пережившие бурю или наводнение, но выжившие и зализывающие раны. Я тоже не знаю, что сказать. Тогда папа откашливается и говорит:

— В следующий раз, пожалуйста, оставь записку, если не хочешь нас преждевременно похоронить. — Голос у папы хриплый, но понятно, что он овладел собой.

Мама добавляет:

— Хорошо, что нам позвонил папа Бэнци, мы уже хотели обратиться в полицию. Я всем твоим подружкам позвонила, но про Бэнци не подумала...

— Мы совсем недавно дружим. — Это первое, что я говорю. А потом добавляю: — Простите. Я не хотела... простите.

И хотя это я прошу прощения, неожиданно понимаю, что и я их простила. Они не показывают своего волнения, но я чувствую, что они пережили за сегодняшний день. И я вдруг вижу, какие они хрупкие, незащитные, как зависит от меня их мир, их жизнь и как же я могу после этого не простить их? И опять начинаю плакать — на этот раз от радости, как Йосеф, когда тот простил своих братьев.

И тут мама не выдерживает, обнимает меня, а папа гово-

рит:

– Она просто устала. Ничего, Мишенька, сейчас поспишь, и все пройдет.

И тут он замечает собаку, и я быстро успеваю сказать, опередив его:

– Я его нашла, он брошенный, он добрый, он защищал меня и полдня с нами пробегал. Давайте покормим его, у нас есть ветчина? Я назову его Карамазов, ладно?

Последнее я говорю, чтобы подлизаться к папе; хотя я страшно устала, «Карамазов» сразу приходит мне в голову. А фразу «Можно его оставить?» вообще вслух не произношу, подразумевая, что это вопрос решенный, и готовлюсь отбивать атаку: папины аргументы и логические доводы о том, почему мы не можем держать большую собаку в городской квартире и так далее... Но папа ничего не говорит, только кивает, и у него слегка дергается левый глаз – очередной нервный тик. Очевидно, приобретение большого пса – пустяковая цена за возвращение дочки, которую они уже считали пропавшей, а может, и (кто знает?) погибшей.

Мама бормочет:

– Надо будет его свозить к ветеринару. И купить ошейник от блох.

Но насчет мамы я и не волновалась: она тоже хотела собаку.

Пес накормлен, напоен, а я такая уставшая, что не хочу есть, хочу только в душ и спать. В майке и трусах ложусь под

одеяло, тушу ночник и засыпаю под тихий разговор родителей, который доносится из зала, а Карамазов лежит на коврик у моей кровати, и в темноте мерцают его золотистые, как густой мед, глаза, он смотрит на меня с такой любовью, что теперь и кошмары не страшны, и, перед тем как окунуться в глубокий сон, я думаю: «Весь сердце, весь сердце, весь сердце...»

Восьмая свеча

Удивительно, до чего взрослые умеют испортить праздник. Год назад в Судный день я случайно подслушала папин телефонный разговор и поняла, что он изменяет маме с жирной, сисястой Мариной, которая не умеет красить губы. А теперь *Ханука*²⁴, которую я всегда любила из-за света и из-за того, что я в Хануку родилась, безнадежно испорчена. Это первый праздник без папы и с привидением вместо мамы. Сразу поясняю, что никто не умер: ни папа, ни мама, – но, по сути, в каком-то смысле умерли оба. Но это надо объяснять, желательно по порядку. Постараюсь.

Значит, так. Про Марину я тогда решила маме не рассказывать. И папе не подала виду, что знаю. Думала, рассосется. И сама постаралась забыть. Даже почти забыла: домой она, после того как папа в тот раз на нее нарычал, больше не звонила, и я заметила, что папа стал реже задерживаться на ночь в Иерусалиме у «друга Хаима», а приезжал в Рамат-Илан, хотя, как и прежде, жаловался на длинную дорогу. И жизнь снова стала обычной. Иногда (конечно же, в самые неподходящие минуты) я вдруг вспоминала Маринин хриплый про-

²⁴ Ханука – еврейский зимний восьмидневный праздник в память об очищении Храма и возобновлении Маккавеями храмовой службы, последовавшими за разгромом и изгнанием с Храмовой горы греческих войск в 165 году до н. э.

куренный голос и то, как она назвала папу «Володенька», и чувствовала короткий, острый укол и гадкий вкус медузы во рту (никогда не пробовала, но представляю, что это очень гадко – такая бесформенная жижа, которая залепляет рот и горло). Но потом это проходило, и я жила дальше, как будто ничего не было. Оказалось, зря.

В начале лета папа снова стал задерживаться в Иерусалиме. Я встревожилась. И страшно разозлилась на маму, которая никак не реагировала. Скорее наоборот, мама стала еще более апатичной и вялой, почти перестала переодеваться из пижамы в нормальную одежду, разве что когда ходила за покупками. «Эта шлюха опять его окрутила!» – подумала я словами героини аргентинской теленовеллы и стала разрабатывать план: узнать телефон Марины и выяснить с ней отношения. Раз у меня такая мама, которая не может за себя постоять, придется мне спасти семью. Раздобыть телефон Марины оказалось несложно: достаточно позвонить в Иерусалимский университет, где они с папой работают, и притвориться абитуриенткой кафедры биологии. Но я хотела сначала тщательно проработать текст монолога, который выплесну на Марину, и только потом звонить. К счастью, не успела, потому что в середине июля папа сообщил маме, что у него роман с его же студенткой Гили и что они собираются вместе снять квартиру в Иерусалиме. Не знаю, когда папа собирался рассказать об этом мне, но так получилось, что узнала я сразу, потому что, как только мама услышала про

Ги́ли, у нее с новой силой вспыхнула депрессия...

Говорю «с новой силой», но я понятия не имела про депрессию и про присутствие этой депрессии в маминой душе. Так получилось, что я все узнала одновременно: и про Ги́ли, и про депрессию. Папа, конечно, этого не хотел, хотя «мог предвидеть», – так сказала Майка, папина младшая сестра. Про маму мне тоже рассказала Майка. Папа ее сразу вызвал, когда с мамой «это» случилось. Под «этим» я имею в виду, что она вырубилась, как будто ее выключили. Папа не смог добиться от нее какой-либо реакции – мама ушла глубоко в себя и перестала говорить, только смотрела перед собой в одну точку. Тут папа испугался. Побоялся оставить меня с ней, такой, а ему на следующее утро надо было на работу. (Хотя папа – профессор и специалист по Достоевскому, но в некоторых вещах он очень плохо соображает, не умеет продумывать наперед.) Звонить маминым стареньким родителям папа малодушно не захотел и вызвал Майку, которая живет неподалеку, она как раз учится в Бар-Иланском университете (в каком-то смысле это ее третье образование, если учесть, что два других она не завершила). Майка собиралась на вечернюю работу в баре, но все отменила и приехала, хотя и ворчала и при мне назвала своего брата «несчастливым кретином» (такая у нас Майка – не скупится на слова). Папа даже не прореагировал, до того он был обескуражен. А Майка сказала: «Это ужасно, но надо рассказать Мишель всю правду, она имеет право знать, что происходит. Только

ты, Зээв, выйди, не мешай». И папа удалился в свой кабинет.

А Майка рассказала, что, оказывается, мы переехали в Рамат-Илан не из-за маминого давления, а из-за маминой депрессии. Врачи посоветовали сменить обстановку. Началась депрессия после родов – такое бывает у женщин. Только обычно депрессия потом проходит, а у мамы не прошла. «Может, и прошла бы, – вздохнула Майка, – но то, что Лили не работала, не пошло ей на пользу. Я твоему папе тысячу раз говорила, что Лили надо чем-то заниматься, помимо тебя и дома, но он не слушал. Эгоист. Причем недалекий. А еще Лили периодически пыталась слезть с антидепрессантов, говорила, что они ее глушат, делают из нее растение, но тогда ей становилось хуже, и Зээв уговаривал ее вернуться к таблеткам...»

Майка говорила про маму, перемежая рассказ путанными и малопонятными медицинскими терминами, и я понимала, что на самом деле все это давно знала, просто не допускала до себя это знание. Ну конечно же, мне с раннего детства было ясно, что моя красивая, задумчивая мама не такая, как остальные. Я привыкла к тому, что она часто печальная и молчаливая (хотя шутила она всегда удачней, чем папа), и очень радовалась в те редкие минуты, когда мама бывала игривой и смешливой. Принимала как должное то, что она может часами валяться в постели (как правило, с книжкой, но необязательно), что она может спать по полдня (при этом мама всегда готовила еду и стирала, а уборкой занималась

уборщица, которая приходила раз в две недели). Но иногда мама вдруг вскакивала с постели, красиво одевалась, душилась, рассказывала разные истории и сказки, которые сама сочиняла (ее детские книжки рождались именно из рассказанных мне историй), интересовалась папиной работой, приглашала гостей, ставила диски с любимыми песнями и кружилась по залу, придумывала разные веселые поездки, пикники на природе... Майка сказала, что это называется ремиссией. А мне плевать, как это называется, ведь после ремиссии всегда бывает откат. А когда ремиссия длится долго – месяц, два, три – и уже начинаешь, затаив дыхание, надеяться, что то, другое, больше не вернется, а потом все-таки наступает откат, то особенно обидно. Но и к этому привыкаешь.

– Понимаешь, – сказала Майка, – ребенку иногда легче привыкнуть, чем взрослому, ребенок принимает своих родителей такими, какие они есть, это просто данность, и всё. А Зээву было очень тяжело, всегда. Его бесили Лилины провалы в депрессию, он начинал реже бывать дома, ей от этого становилось еще хуже – такой заколдованный круг. А теперь... а теперь он нашел Гили. – (Я решила не говорить, что на пути к Гили он нашел еще и Марину, хотя было интересно, знала ли Майка...) – Но ты на папу тоже не сердись, Мишка. Он не виноват. Ему не хватает душевной теплоты. Не по зубам ему вся эта ситуация...

Тут папа в бешенстве выбежал из кабинета. Очевидно,

он все слышал. У Майки такой громкий голос – как иерихонская труба. Даже подслушивать необязательно. Но Майку это не впечатлило. Она чуть дернула плечом и сказала:

– Кроме меня, тебе никто не расскажет правду, детка.

И тут мимо нас, как лунатик, прошла голая мама – в одних трусах. Она и раньше не особо стеснялась своей наготы, по крайней мере при членах семьи (в широком смысле), ну а сейчас ей и вовсе было до лампочки. Она вошла в туалет, раздался звук спускаемой воды, и через минуту мама промелькнула опять, с тем же невидящим взглядом и замкнутым, словно закрытым на сто замков, непроницаемым лицом.

– Лили, – хрипло окликнул ее папа, – попей, Лили, ты весь вечер не пила, в хамсин так нельзя.

Но мама, конечно же, не обратила на него никакого внимания. Папа в ярости ударил кулаком по столу, завопил от боли и тут же обрушился на Майку, которая зажгла сигарету:

– У нас нельзя курить, не смей здесь курить! Вечно ты обязана нарушать правила...

Майка затянулась, выдохнула и с коротким смешком сказала:

– Знаешь, Зээв, на данный момент это самая маленькая из твоих проблем.

А я совсем некстати подумала, что у мамы все еще красивая грудь, не обвисшая. Интересно, кормила она меня или нет? Я вдруг поняла, что не знаю.

В тот вечер мне было совсем не до Гили, я была слишком занята мамой, как и все остальные. Потому ничего, кроме того, что Гили – папина студентка, я про нее не узнала. А позже уже и не хотела ничего знать. Я и так с папой разговаривала сквозь зубы, а тему Гили просто бойкотировала. Могла даже трубку повесить. Тем не менее несколько фактов папе удалось до меня донести. Гили было двадцать четыре года. Она изучала не русскую литературу, а социологию и папин курс взяла в качестве «свободного выбора»: ей показалось, что Достоевский поможет ей понять психологию трудных подростков. Это папин самый простой, примитивный курс по Достоевскому, не для специалистов, и все книги читаются в переводах. Поэтому Гили и смогла на него записаться, по-русски она знала всего несколько слов, стандартный израильский набор: «спасибо», «иди сюда», «молодец» и парочку неприличных.

А еще я видела фотографию Гили: прямые каштановые волосы, карие глаза, открытый прямой взгляд, загар, чуть вздернутый нос. Немного неряшливая, свободная одежда, так что какая фигура – непонятно. Типичная израильтянка. Ничего особенного. Простота, почти переходящая в грубость, абсолютная естественность, открытость и простодушная, но несколько напористая веселость. Короче, все то, чем мама никогда не обладала. (А какой буду я? Как мама или как Гили? Я – ни то ни другое, а что-то среднее, что-то между, ни то ни се, ни к селу ни к городу...) Ничего особенного,

но и ничего отталкивающего. Скорее, даже симпатичная девушка. Поэтому я так резко оттолкнула папину руку и не желала разглядывать Гилину фотку – вдруг она мне понравится? А этого я допустить не могу, это будет предательством по отношению к маме.

Конечно, с тех пор мама немного пришла в себя. Баба Роза чуть ли не силой поволокла ее к врачу (звучит смешно, потому что баба Роза маленькая и сухонькая, но когда надо, силищи у нее ого-го). Врач выписал маме другие таблетки, и она опять стала есть, пить, реагировать на окружающих, даже разговаривать. Но у нее все еще нет ни на что сил. Она проводит в постели дни и ночи, даже еду берет с собой в постель, выходит только в туалет и в душ – это очень для нее важно, чтобы от нее всегда хорошо пахло. А вот причесываться ей лень, она полностью запустила свои роскошные густые золотистые волосы, и как-то раз баба Роза обнаружила, что под кое-как причесанным верхним слоем нижний слой маминых волос превратился в колтун, который уже не расчешешь. Я предложила маме завести дреды и стать хиппи – я все время пытаюсь ее рассмешить, наверно, чтоб самой не свихнуться. Но баба Роза повела маму к парикмахеру, и тот коротко ее остриг, сделал каре. Поскольку мамины волосы выются, все равно выглядит довольно неряшливо – они не лежат, как должны. Из-за этого у мамы озорной вид, что очень расходится с ее лицом. Мама и так белая, а теперь стала совсем бледная: она почти не выходит на улицу, говорит,

что ее пугают уличные звуки, особенно гудки машин и визг тормозов. Мама все больше похожа на привидение – красивое, равнодушное привидение.

Продукты покупает деда Сёма, хотя он сам старенький и ему тяжело. Я стараюсь ему помогать после школы, но иногда он ходит в магазин по утрам. А готовит баба Роза, она почти весь день у нас проводит, чтобы меня дома ждал обед и чтобы мне не было так одиноко. А маме, кажется, все равно, одна она дома или нет. Стирает, а потом развешивает белье тоже баба Роза, правда, я хочу это взять на себя, ведь мне несложно нагибаться и разгибаться. Мама – поздний ребенок, когда она родилась, бабе Розе было почти сорок, а деде Сёме – аж за сорок, и теперь они старенькие. Но без них не знаю, что бы я делала. С утра слышу, как поворачивается в замке ключ, а затем – шарканье шагов дедушки. И знакомое покашливание, пока он разувается в прихожей. Деда Сёма любит рано вставать. По пути к нам он заходит в пекарню, чтобы на завтрак я поела свежие булочки. А еще приносит пакет холодного какао – иногда выпиваю его сразу, а иногда беру с собой в школу, хотя боюсь, что он может лопнуть в рюкзаке. Пока я ем, дедушка наливает себе кофе и принимается читать свежую газету, время от времени восклицая: «Разбойники!», «Паразиты!», «До чего довели страну!» От этого сразу становится привычно и уютно, и не так противно выползать на улицу к своему школьному мини-автобусу даже в дождь.

А когда я прихожу домой, там уже бабушка возится на кухне, у нее всегда одновременно что-то в духовке, что-то на плите, а параллельно она еще режет овощи на старой деревянной доске и при этом слушает радио, причем русское радио «Рэка» (я уже знаю все программы, которые там крутят, и ведущих знаю по именам). В последнее время мой русский, кстати, сильно улучшился. Хотя дедушка с бабушкой здесь, в Израиле, работали и прилично говорят на иврите, русский они знают гораздо лучше и со мной предпочитают говорить по-русски. Еще мне очень нравится переводить на иврит русские пословицы и поговорки. Если переводить буквально – звучит как полная абракадабра. Например, «из-под пятницы суббота» – эту фразу бабушка всегда мне говорит, когда у меня майка высовывается из-под свитера. А на иврите какой-то нонсенс получается. Дико смешно. Но при этом – торжественно. Я это недавно Бэнци сказала, своему другу, и мы полчаса дико хохотали. Потом я объяснила, что это значит, и мы смеялись еще полчаса. Или вот «да нет» – тоже бабушкино любимое: «Да нет, Сёма, что за глупости!» «Да нет, Мишка, ничего подобного я не говорила!» А попробуй переведи на иврит это «да нет». *Кен ло*. Как будто ты ненормальный, сам не знаешь, что хочешь. Но я и Бэнци, и Рони, свою лучшую подружку, этому научила, внедрила это «кен ло» в наш лексикон. И теперь, когда мы хотим сказать особое «нет», то есть хотим это «нет» усилить, мы так и говорим: «Кен ло!», с ударением на «ло», и окружающие смотрят на

нас с недоумением. Это наша общая шутка втроем с Рони и Бэнци, хотя, если честно, они не очень ладят. Но это уже другая тема.

Как правило, на ужин приходит и дедушка. Я отношу маме еду в постель на подносе, а потом мы с бабушкой и дедушкой садимся ужинать. И если очень постараться, можно даже представить, что мы – нормальная семья. Если забыть, что мама – в спальне, а папа – в Иерусалиме с Гили. Конечно, что-то нормальное в нас есть. И в последние месяцы я научилась это любить и ценить как никогда. Раньше просто не обращала внимания. Потому что речь о мелочах, о таких мелочах, которые, пока всё хорошо или хотя бы более-менее, просто не замечаешь. В семьях, в которых всё хорошо, вся жизнь и состоит из таких вот мелочей: «А что на обед? Выключи газ. Мне кто-то звонил? Мишель малы кроссовки, надо новые купить. Опять огромный счет за электричество. – Ну ведь была холодная зима. Боже, опять досрочные выборы – ну когда ж они утомонятся? Холодно, надень свитер...» А когда семьи больше нет, всё то, что составляло видимость уютного, удобного мира, уже не имеет значения, и люди или обсуждают несчастья и беды, свалившиеся на них, или молчат. В основном молчат, потому что обсуждать несчастья и беды рано или поздно надоедает. И вот именно тогда очень важно вернуться к мелочам. Ради состояния устойчивости, чтобы зацепиться за что-то, доказать себе, что ты все еще связан с этим миром, что ты все еще выполняешь опреде-

ленные ритуалы и поэтому существуешь.

И вот мы сидим за столом, бабушка говорит: «Подуй на суп, деточка, он горячий», а дедушка уже громко хлюпает этим же супом и, поворачиваясь к бабушке, спрашивает: «Ты слышала, что говорил этот мерзавец?» «Какой мерзавец, Сёма? У тебя все мерзавцы!» – отвечает бабушка и подкладывает мне еще хлеба: ей кажется, что я слишком худая. «Да какой! Коммунист, конечно!» – возмущается дедушка. «Ай, Сёма, у тебя все коммунисты!» – Бабушка вытирает руки о фартук. «Они и есть все коммунисты!» – продолжает дедушка и от волнения проливает ложку с супом себе на бороду. – «Все эти леваки – все коммунисты! Неужели я ради этого почти на старости лет боролся за отъезд в Израиль, чтобы здесь мне предлагали голосовать за несчастную рабочую партию?! Рабочую партию, Роза!» «Так не голосуй, Сёма, успокойся, – отмахивается бабушка, – главное, кушай аккуратно, у нас на второе карп, в нем очень много костей. Кстати, знаешь, кого я встретила в очереди за рыбой?»

И я смотрю на них, на дедушку с бабушкой, и думаю о том, как их люблю, и о том, что они старые и, может, скоро умрут, и тогда я останусь совсем одна в этом мире, и быстро отгоняю эту мысль, чтобы не заплакать.

А с мамой все непонятно. Я бы хотела как-нибудь днем невидимкой проникнуть в квартиру, чтобы понять, чем она занимается. Не может ведь человек целый день ничем не заниматься. Раньше ей звонили по телефону подружки, но она

очень быстро заканчивала разговоры с ними, и постепенно они перестали звонить. А когда я спросила ее об этом, она ответила, что, оказывается, они не подружки, а просто знакомые, и сейчас это стало особенно очевидно, а тратить время на чужих людей ей не хочется. Хотя чего-чего, а времени у мамы навалом. Она ведь перестала писать свои забавные и немного грустные детские книжки. С тех пор как папа ушел, она не написала ни строчки. Иногда она просит принести ей ту или другую книжку, но чтение быстро утомляет ее. На мамином туалетном столике лежит целая гора книжек, которые она начала читать и бросила. Дело в том, что это папины книжки. Те, которые он не забрал. А он забрал большую часть, и на наших книжных полках – зияющие дыры, на которые больно смотреть (может, поэтому мама так не любит выходить в зал? Про папин бывший кабинет я уже не говорю: это теперь пустая комната, без ковра и без мебели, и туда не входит никто). Как-то раз я притащила маме книжку из школьной библиотеки – английский детектив, просто чтобы она развлеклась, но мама ее даже не открыла. Сказала, что не любит детективы, что это скучно. Мне хотелось крикнуть, что ей вообще все скучно, и жить скучно, и ничего ее не волнует и не интересует, даже я, но сдержалась.

Вначале я злилась на маму: получается, она меня тоже оставила, как и папа. Хотя Майка и предупредила, что мама не может с собой справиться и что не надо на нее злиться, я все равно злилась. Потому что иногда все-таки мама дела-

ла над собой усилие и спрашивала меня о чем-то или гладила по волосам. Я видела, что ей очень непросто присутствовать в этом мире, но ведь она должна понимать, как это для меня важно. Она могла бы стараться больше, чаще. Но она этого не делала. А потом я привыкла и перестала злиться, даже наоборот, боялась этих вспышек маминого интереса, коротких и нечастых, боялась начать верить в то, что мама снова станет прежней. Даже привыкла к мысли, что это не мама, а всего лишь ее оболочка. А где мама, в каком мире она обитает, никто не знает. А еще где-то в глубине подсознания маячит чувство вины, что это всё из-за меня, ведь именно после родов у мамы появилась депрессия, возможно, ей нельзя было заводить детей... Это самое гадкое – такое эгоистическое самобичевание, потому что на самом деле я прежде всего жалею себя, а не маму. Лучше об этом всем не думать. Я и стараюсь не думать.

Про папу тоже думать не хочется. Да, он платит огромные алименты, размером со свое чувство вины. (Он как раз стал завкафедрой, и ему повысили зарплату.) Он мне как-то сказал – в самом начале, когда только уехал: «Мишенька, я не хочу, чтобы в твоей жизни что-либо менялось». Ничего умнее он сказать не мог, этот профессор! Как будто в моей жизни не поменялось абсолютно все. Нет, конечно, приятно, что к нам все еще приходит уборщица и что я могу позволить себе покупать свое любимое шоколадное мороженое. (Правда, его часто съедает мама, до того как я успеваю попробо-

вать, но мне не жалко: кажется, у нее нет других радостей в жизни.) Хотя что-то осталось прежним. Незначительные, но по-своему нужные вещи. Но папу я все равно не прощаю и видеть его не хочу. Он и не особо рвется приезжать: у него единственный выходной в шаббат, и этот день он проводит с Гили. Справедливости ради, у него были попытки приехать со мной повидаться, но я каждый раз придумывала отговорку: то у кого-то из класса день рождения, то я заболела. И папа не настаивал. Права была Майка: слабак он. Правда, он продолжает регулярно звонить два раза в неделю. В понедельник и четверг. Ну, это как раз в папином духе, он, наверно, себе в ежедневник записал. А может, ему секретарша напоминает. По телефону я его тоже не жалую. Отвечаю односложно и тороплюсь поскорее закончить разговор. (А попытки позвать меня к себе в гости в Иерусалим он давно забросил: у меня на это реакция одна – длинные гудки...)

Вот пример наших разговоров:

– Привет, Мишенька!

– Привет.

– Как у тебя дела?

– Нормально.

– Что нового?

– Ничего особенного.

– Как в школе?

– Нормально.

– Вы уже начали учить химию?

– Ага.

– И как тебе?

– Нормально.

– Ну расскажи, что за это время произошло? Что слышно?

– Ничего.

– Не может быть!

– Мы разговаривали три дня назад.

– Но что-то ведь за это время произошло?

– У Карамазова глисты.

(Когда папа ушел, я даже хотела переименовать собаку – назло папе, но потом передумала: он уже откликнулся на Карамазова.)

– Да что ты! Вы были у ветеринара?

– А ты как думаешь?

– Конечно были. С бабой Розой?

(Он все надеется услышать, что «с мамой», что мама стала выходить из дома. Зря надеется.)

– Да.

– И что вам сказали?

– Что у него глисты.

(Бедный папа, он так теряется от моей враждебности, что сильно глупеет, но что поделаешь, никто не обещал, что будет легко.)

– Ему выписали лекарство?

– Да.

– Бедный песик!

(Всё, приплыли. Папа совсем не любит животных, он на Карамазова чудом согласился. Это у него последний патрон – про «песика».)

Я молчу. Что он от меня хочет, этот чужой человек? Мне нечего ему сказать.

– А что ты сейчас читаешь?

– Ничего.

– Ничего? – (В папином голосе – плохо скрытое разочарование; можно подумать, что на чтении свет клином сошелся.) – М-да! Бывают такие периоды. Я тут купил несколько книжек в последнее время. В том числе Ницше. Думаю, тебе понравится. Ты созрела. Как раз для юных бунтарей, ха-ха. Хочешь, pošлю тебе Ницше посылкой?

– Ладно.

– А может... А может, ты все-таки как-нибудь к нам приедешь?..

Так. Разговор окончен, с чувством облегчения вешаю трубку. Если бы он сказал «ко мне», я бы еще подумала, но вот это «к нам» – он прекрасно знал, что за этим последует. Просто проверяет меня, мою реакцию. Ну и хорошо. Теперь будет знать, что ничего не изменилось. Перезванивать папа не станет. Позвонит в четверг как ни в чем не бывало. Мне от этого ни жарко ни холодно... В каком-то смысле у меня нет больше ни мамы, ни папы.

В этом году – впервые – я не ждала своего дня рождения. Всегда ждала, каждый год, и дня рождения, и Хануки. Жда-

ла весь ноябрь, считала дни. Мой день рождения 1 декабря, с него начинается мой любимый месяц, а потом он плавно перетекает в Хануку. Иногда надо подождать неделю-другую – все зависит от конкретного года, от того, где пересекается солнечный календарь с лунным. А иногда Ханука прям в самом начале декабря, и тогда – сплошной праздник. Обожаю Хануку. Единственный религиозный праздник без запретов и ограничений. Можно работать, ездить, готовить, включать свет... (Конечно, моей семьи это по-любому не касается, даже теперь, когда ушел папа-атеист, но важен сам принцип.) Зато в Хануку едят драники, *суфганийот*²⁵ – все, что делается на масле, – в честь того кувшинчика с маслом, которого хватило на восемь дней, хотя, казалось, не хватит даже на один. Вот за это тоже люблю Хануку – за чудо. И за свет, за прибывающий свет – с каждым днем все больше и больше свечей, каждый день прибавляешь по одной свечке. И выковыриваешь клубничное варенье из суфганийот. Клубничное варенье и свет, подсвечники, горящие по вечерам во всех окнах. А еще сами свечки, конечно. Тонкие разноцветные ханукальные свечки...

В моем раннем детстве были более стандартные наборы: белые, синие, красные, желтые и оранжевые. А теперь появились фиолетовые, и розовые, и зеленые. Можно всегда купить лишнюю упаковку и рисовать свечами на тонкой белой бумаге. Я в этом специалист. Зажигаешь ту свечку, ко-

²⁵ Суфганийот – пончики с начинкой.

торой хочешь «порисовать», наклоняешь ее в нужное место, и с нее капает парафин и почти сразу застывает аккуратным кружочком. Так можно весь лист заполнить разноцветными кружочками парафина, и поскольку они тоже полупрозрачные, то, если приклеить на стекло, сквозь «рисунок» будет проходить свет – очень красиво. (На толстой черной бумаге еще эффектней, но я предпочитаю на белой.) Больше всего нравится сам процесс. И запах горячего парафина. Как-то раз (мне было лет девять или десять) я слишком близко поднесла свечку к бумаге, и она загорелась, и очень быстро пламя перекинулось на рисовальный альбом и тетрадку по арифметике. Я, не думая, схватила вазу (в ней как раз стояли подвешивающие гвоздики, которые папа подарил маме на мой день рождения) и вылила из нее воду на письменный стол. Огонь зашипел и погас, в комнате запахло гарью, а я на секунду представила, что было бы, если бы я ничего не сделала, а просто смотрела, как огонь поглощает мой письменный стол, мебель, шторы. (Я всегда любила такие вещи представлять – всякие «если бы», и в этих «если бы» я разрешала себе быть плохой девочкой и очень плохой девочкой.) Короче, в тот раз я чуть не спалила дом. Может, было бы лучше, если бы спалила... Может, это встряхнуло бы маму, которая выносила бы меня на руках из горящего дома, и она сразу бы перестала быть грустной (при мысли о том, что могла меня потерять, но что все закончилось хорошо), и папе не нужны были бы всякие Марины и Гили... Вот, я до сих пор это де-

лаю – играю в «если бы». Это утешает, но не сильно.

Короче, я с детства знала: нужно только переждать ноябрь, и сразу будет хорошо. А в этом году было ясно, что ничего хорошего не будет. Поэтому я не только не ждала, а с ужасом думала про то, что мне предстоит. Понимала, что буду поневоле сравнивать с другими днями рождения, с другими Хануками и огорчаться еще больше. Мне хотелось, чтобы уже поскорее прошли праздники, чтобы я просто привыкла, что теперь все будет так – гораздо хуже, и уже ничего не ждала и не сравнивала. Если бы это было возможно, я бы погрузилась в спячку, как животные, всякие там медведи и барсуки, чтобы все это время просто проспать и ничего не чувствовать, а потом проснуться весной – и, оказывается, мне уже тринадцать, и про маму с папой – привычно и не болит. Но так, к сожалению, невозможно. Может, когда-нибудь изобретут средство, чтобы погружать людей в спячку на зиму. Всех желающих. Оно будет очень популярным. И с точки зрения экономики – логично. Конечно, часть населения не будет работать, но ведь есть и потреблять электричество они в это время тоже не будут...

К сожалению, я оказалась права: тринадцатилетие было самым грустным днем рождения. Во-первых, было страшно холодно: на улице еще ничего, а дома просто ужас. Мы в относительно новом здании живем, и, в отличие от камня, гипсокартон с холодом справляется очень плохо. В моей и маминой комнате стоят обогреватели, но вытащить ногу из-под

одеяла – все равно что окунуть ее в ледяную воду. Ну и дальше одеваться тоже неприятно... Во-вторых, мама так и не встала. Когда я к ней заглянула, она лежала под тремя одеялами и спала. Я решила, что мама и не помнит про мой день рождения – она в последнее время не всегда в курсе дат и чисел – и не стала ее будить. Деда Сёма вместе с булочками и какао принес одинокую оранжевую розу, но это меня только огорчило – напомнило, что в этот день папа всегда дарил маме цветы.

От школы я ничего и не ждала. С начала года меня в классе недолюбливают. Мальчики высмеивают, оттого что у меня почти нет груди, зовут «доской», а девочки под влиянием Ширы ехидничают над тем, что я замкнулась в себе, – типа что это я прибежняюсь, у половины класса родители в разводе, но никто не строит из себя жертву и сиротку, и вообще мой траурный, угрюмый вид всем надоел и никому меня не жалко. Про маму знают только Рони и Бэнци, теперь они мои единственные друзья. Но это им не мешает и с другими дружить, хотя от нападок меня защищают. Рони подарила мне синий воздушный шарик, но идиот Алон его тут же лопнул. А Бэнци припас шоколадный маффин, из которого половина шоколадной пасты выдавилась на пакет, но я все равно оценила жест... А Шира насмешливо спросила: «Вечеринка будет?» Я ее не удостоила ответом, и она процедила: «Ну и правильно, все равно никто не придет».

Баба Роза купила в кондитерской торт, украсила его све-

чами. Четырнадцать свечей, как и принято, – одна на следующий год, впрок. Впервые у меня на день рождения торт из кондитерской. Обычно мама пекла... Мама к моему приходу хоть встала и оделась, даже сидела с нами за столом, пела «С днем рождения тебя» и поцеловала меня, но вид у нее был умученный, и потом она сразу ушла к себе, наверно, с облегчением разделась (такое ощущение, что ей противно находиться в одежде). Бабушка и дедушка подарили мне теплую пушистую пижаму (очень кстати) и сто шекелей: «Ты уже большая, сама купи, что хочешь». Эти подарки – они как бы и от мамы, и я тоже сделала вид, что играю в эту игру, хотя всем все понятно...

Потом позвонил папа – вне очереди, так как мой день рождения был во вторник, сказал, что перевел на счет бабы Розы пятьсот шекелей, чтобы я купила себе горный велосипед с рычагами скоростей (давно о таком мечтала). Я сухо поблагодарила. Папа спросил, как дела у Карамазова и у его глистов, – молодец, нашел зацепку с предыдущего разговора. Я ответила, что у Карамазова дела отлично, а у глистов – плохо. Тогда папа откашлялся (он всегда так делает, когда нервничает) и поинтересовался моими планами на ханукальные каникулы. Я бросила: «Читать!», чтобы папа отстал. «Все каникулы? Все восемь дней?» «Да!» – отрезала я. Папа трусливо ретировался: «Отличный план, Мишенька! С днем рождения тебя, родная!» Я повесила трубку и услышала, как из своей комнаты меня зовет мама. «Хочешь забраться со мной

под одеяло и я тебе расскажу сказку, как в детстве?» – спросила мама. «Ну... не, мам, я ведь уже большая, ты лучше поспи», – пробормотала я и закрыла за собой дверь, успев увидеть мамин обиженный взгляд. Кто знает, сколько душевных сил ей потребовалось на то, чтобы сделать мне это предложение? Я машинально разделась и включила обогреватель на полную мощность. Легла в постель, похлопала рукой по матрасу, и ко мне сразу запрыгнул Карамазов. Пока папа тут жил, кровати Карамазову были заказаны, но маме, конечно же, все равно, и с тех пор, как похолодало, Карамазов спит у меня в ногах и приятно нагревает постель.

Перед сном я почему-то вспомнила мой первый день рождения в школе, в шесть лет, в старом классе в Иерусалиме. (Тогда тоже была очень холодная зима, и мама рассказала, что в России зимой на улицах снег, а в домах, наоборот, очень жарко, и по батареям в квартире течет и журчит горячая вода, и я пыталась себе это представить, но не смогла.) Мама надела на меня три свитера и красные резиновые сапоги, которые были мне велики, и я шлепала по лужам. А еще мама испекла роскошный многослойный торт с кремом, и мы взяли его в школу, и купили много маленьких подарочков для всех учеников (всякие там ластики с рисунками, наклейки, брелоки). После того как я задула свечки и все спели «С днем рожденья тебя», мама предложила научить всех детей русской деньрожденной песне и стала переводить на иврит «Пусть бегут неуклюже». Из песни дети поняли только

одну строчку – «Вода по асфальту рекой», – за окном в Иерусалиме было точно так же: сплошные лужи вместо тротуара. Но при чем тут день рождения, никто не понял, и почему на гармошке играют – тоже, а когда мама смутилась и попыталась объяснить, что это крокодил поет, все расхохотались, и тогда учительница, молодая марокканка, спросила: «И эту песню в России поют на день рождения?» – и мама кивнула, и все опять рассмеялись, и мы с мамой тоже. Это был лучший день рождения в моей жизни.

Спустя две недели, в середине декабря, началась Ханука. В этом году она не совпала с моим днем рождения, да я этого и не хотела – какая разница, раз все испорчено? К тому же я папе, можно сказать, не соврала, у меня и правда не было никаких планов на каникулы. Рони уехала с родителями кататься на лыжах в Швейцарию – у нее родители адвокаты, они себе могут это позволить. Обычные израильские семьи катаются на лыжах на горе Хермон, и то не каждый год. А с Бэнци мы как раз поссорились, как обычно, из-за ерунды. Дело в том, что я была дежурной: мне надо было убрать классную комнату во время переменки и проветрить, а до этого проследить, чтобы никто, кроме меня, там не остался. А Бэнци решил, что у него будут особые привилегии, потому что он мой друг. И остался. Сидел на своем месте, жевал бутерброд и слушал музыку в наушниках в новом кассетнике. И понятно было, что никакой особой причины остаться в классе у

него нет, просто он хочет показать, насколько он особенный. Это меня и разозлило. Я подошла, шутливо сдернула наушники с его головы и сказала: «Давай выметывайся!» Тут уже он разозлился. Бэнци терпеть не может такого фамильярного обращения: у него, блин, восточная гордость! И он как заорет: «Не трогай меня!» А я повторяю как можно спокойнее: «Давай выметывайся, Бэнци, ты же знаешь, что нельзя оставаться». А он: «Тебе жалко, что ли?!» А я: «Не жалко, такие правила». И он страшно обиделся: «И ты считаешь себя другом после этого?!» Тут я уже стала оправдываться (зря, с Бэнци это очень неправильная тактика): «Я не могу для тебя сделать исключение, у меня обостренное чувство справедливости...» А Бэнци пробурчал: «У тебя обостренный идиотизм!» – и еще что-то обидное, мол, он уверен, что мои предки возглавляли революцию в России и у меня врожденный большевизм, и вышел из класса. После этого инцидента мы друг друга неделю игнорировали – оба слишком гордые, чтобы сделать первый шаг к примирению. А тут наступили каникулы.

Но перед этим меня вдруг позвала в свою комнату мама и неожиданно сказала:

– Почему бы тебе не съездить на каникулах к папе?

Я так обомлела, что ничего не ответила. Тогда мама повторила свой вопрос. Я все еще не могла поверить своим ушам: с тех пор как папа ушел, она ни разу его не упоминала, как будто его никогда не было или как будто одно упо-

минание его имени причинило бы ей невыносимую боль. Я тоже папу не упоминала и не думала, что мама в курсе наших разговоров, папиных просьб приехать и моих отказов... Я изумленно спросила:

– Ты хочешь, чтобы я поехала в гости к папе?!

Мама села, облокотившись на подушку, и после паузы ответила:

– Мне кажется, ты этого хочешь.

– Ничего подобного! Я вообще не хочу его видеть.

Мама вздохнула.

– Ты просто сердишься на него, Мишка. Но, конечно, ты хочешь его видеть. Не ври себе.

Я растерянно молчала, а мама продолжила:

– Ты имеешь полное право сердиться, но это не может продолжаться вечно. В конце концов, он твой папа, ты не можешь с ним развестись.

– Кто сказал, что не могу? – буркнула я, но думала совсем о другом: значит, мама все-таки не настолько отсутствует, как мне казалось! Значит, что-то она все-таки замечает и беспокоится обо мне. И само это было настолько невероятно, что мне захотелось во что бы ни стало продлить разговор. Еле слышно я прошептала:

– Там же не только папа... Там же эта...

– Гили? – Мама слегка прищурилась. – Ну и что?

– Я ее ненавижу, она забрала папу!

Мама опять вздохнула.

– Мишка, не будь таким ребенком. Папа не вещь, он сам принял такое решение. К тому же... – Тут мама, к моему удивлению и почти ужасу, улыбнулась своей самой озорной улыбкой, эта улыбка появлялась на мамином лице очень редко, но против нее все были безоружны. – К тому же разве тебе не интересно увидеть ее, эту Гили? Признайся, Мишка, ты ведь сгораешь от любопытства.

Неожиданно для самой себя я засмеялась. А мама опять легла и махнула рукой, как бы отсылая меня:

– Позвони папе, обрадуй его.

И я увидела, что ее лоб в еле заметной испарине и краска отлила от лица, как будто этот разговор отнял у нее очень много сил. Тем не менее это был наш самый длинный и содержательный разговор с тех пор, как папа ушел. И он был именно о папе. Хотя бы ради этого надо выполнить мамину просьбу. Да и кого я обманываю? Ведь мама права: мне хочется поехать к папе, очень хочется.

Но с папой я, конечно, продолжала «держатъ лицо». Хотя и слышала, как дрогнул его голос, когда он понял, что это я звоню, ведь до этого я ни разу ему не звонила. (Правда, я смалодушничала и позвонила не на квартиру к Гили, а в папин офис в университете, но все равно.) Голосом армейского командира я заявила:

– У меня три условия: во-первых, не надо задавать мне вопросы, особенно спрашивать про маму – темы для беседы выбираю я, и Гили своей это передай. Во-вторых, если хо-

чешь, чтобы я у вас ела, сам приготовь ужин, и никаких обманов (я прекрасно знала, что папа готовить не умеет, но тем приятней было его огоршить). И последнее: если мне что-то не понравится, ты сразу отвезешь меня обратно на станцию. Ясно?

И на другом конце провода папа с облегчением выдохнул (возможно, он ожидал куда более суровых условий):

– Конечно, Мишенька, конечно, все будет как ты хочешь.

Надо сказать, что папа – в отличие от мамы – всегда был со мной строг. Он очень ответственно, можно даже сказать, академически относился к своей роли родителя и считал, что его обязанность – воспитать меня порядочным и думающим человеком. Поэтому мне ничего не спускалось. Голос папа повышал редко, наказывал еще реже, но у него была такая ироничная, язвительная манера говорить, от которой становилось не по себе. Тем более что требования у папы высокие. Например, он мог сказать: «Мне бы очень не хотелось, Мишка, чтобы ты выросла спесивым, самодовольным человеком. Поэтому, будь добра, сходи в библиотеку и наведи справки о среднем уровне достатка в стране, а потом подумай, насколько справедлив твой упрек, что в этом году мы ездили отдыхать “только” один раз. Я хочу, чтобы завтра ты рассказала мне о том, что прочла, иначе мне будет сложно продолжать тебя уважать». (И я пошла в библиотеку, нашла нужные материалы, записала данные и на следующий день показала папе. Сделать по-другому я просто не могла, да мне

бы и в голову не пришло послушаться.) Еще он нередко говорил: «Не хочу слышать, что тебе скучно; скучно бывает только дуракам, пожалуйста, найди себе занятие». Насчет всего у него было свое мнение, которым он не забывал делиться: «Человек должен быть одет опрятно, так, чтобы не было противно на него смотреть. Остальное неважно; что это за слово – “модно”? Не признаю!» «То, что завтра приходит уборщица, не означает, что можно раскидать вещи по всей комнате, это свинство! Наоборот, надо подготовиться к ее приходу, чтобы ей было легче пропылесосить и помыть полы. Любого человека надо уважать».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.